

## Оскар Уайльд Исповедь: De Profundis

### Предисловие Роберта Росса<sup>1</sup> к первому изданию «De Profundis»<sup>2</sup>

О существовании хранящейся у меня рукописи «De Profundis» знали многие, поскольку автор не раз упоминал о ней в разговоре с друзьями. Неудивителен поэтому всеобщий интерес, проявлявшийся к этому произведению. Думаю, «De Profundis» не нуждается в подробном вступлении или в каких-то особых комментариях. Я хотел бы обратить внимание читателя лишь на тот факт, что исповедь эта написана моим другом в последние месяцы его тюремного заключения и что это единственное произведение, созданное им в стенах тюрьмы, да и вообще его последнее прозаическое произведение.

Что касается «Баллады Редингской тюрьмы», то она была им задумана и написана уже после выхода на свободу.

В направленном мне из тюрьмы письме с инструкциями относительно публикации «De Profundis» Оскар Уайльд, в частности, писал:

«Я вовсе не стараюсь оправдать свое поведение, я просто объясняю его. Кроме того, во многих местах своей исповеди я пишу о той духовной эволюции, которая произошла со мной за годы тюремного заключения, и о неизбежных в силу этого изменениях в моем характере и моих взглядах на жизнь. Я хочу, чтобы ты и те остальные мои друзья, кто остается на моей стороне и сохраняет доброе ко мне отношение, могли бы лучше представить, с каким психологическим настроением и с каким лицом я собираюсь вновь предстать перед миром.

Разумеется, я полностью отдаю себе отчет в том, что, когда меня выпустят на свободу, я, в определенном смысле, попросту перейду из одной в другую тюрьму. Бывают моменты, когда весь мир представляется мне столь же тесным, как моя тюремная камера, и я с ужасом думаю о том, что ожидает меня впереди. Утешением мне служит лишь мысль, что Господь, создавая нашу вселенную, дал каждому из нас свой собственный мир и что именно в этом мире, который существует в каждом из нас, нам и следует жить.

Думаю, что ты будешь читать мою исповедь с большей степенью понимания и с меньшей болью, чем другие. И конечно, нет нужды напоминать тебе, насколько мимолетны мои мысли – как, впрочем, и у всех людей – и из какой эфемерной материи состоят наши чувства. В то же время я отчетливо вижу, в каком направлении – конечно, только через Искусство – будет изменяться в дальнейшем моя душа.

Тюремная жизнь помогает увидеть людей и то, что движет ими, в истинном свете. Именно поэтому начинаешь ощущать себя каким-то окаменевшим. Люди, живущие во внешнем мире, пребывают в плену иллюзии, будто жизнь – это непрерывное движение. Они вращаются в водовороте событий и поэтому живут в нереальном мире. Лишь нам, живущим в неподвижности заточения, дано видеть и знать.

Поможет ли моя исповедь натурам со слишком узкими взглядами или, напротив, тем, у кого слишком пылкое воображение, я не знаю, но мне самому стало неизмеримо легче, когда я излил все наболевшее на бумаге. Наконец-то я «очистил свою душу от всего того, что тяготило ее». Ты и сам знаешь, что для художника нет ничего важнее, чем иметь возможность каким-то образом выразить себя. Лишь «самовыражаясь» мы и можем существовать. Я обязан начальнику тюрьмы очень многим, но более всего я благодарен ему за то, что он дал мне возможность писать тебе, не ограничивая меня объемом написанного. Почти два года во мне накапливался невыносимый груз горечи, и вот теперь я смог хотя бы отчасти облегчить свою ношу.

---

<sup>1</sup> Роберт Росс – литературный душеприказчик, почитатель и преданный друг Оскара Уайльда. Уайльд называл его не иначе, как Робби.

<sup>2</sup> «De Profundis» – «Из глубин». Название это представляет собой первые строки («Из глубин взываю к Тебе, Господи») Псалма 129 в латинском звучании. Предложив такое название для журнальной публикации 1905 г., издатель исповеди Роберт Росс хотел подчеркнуть, что свое послание Оскар Уайльд писал из глубин беспробудности и отчаяния, с того социального дна, на котором писатель очутился по приговору общества (лат.).

С другой стороны тюремной стены растут несколько жалких, черных от копоти деревьев, и сейчас на них распускаются почки, из которых начинают появляться ослепительно зеленые листья. Деревья эти с наступлением весны тоже получили возможность «самовыразиться».

В «De Profundis» с удивительной искренностью и разящей сердце болью переданы душевные переживания художника – натуры в высшей степени интеллектуальной, возвышенной и в то же время крайне ранимой, – художника, подвергнутого обществом остракизму и униженного тюремным заключением. Хотелось бы надеяться, что читатели смогут теперь по-иному взглянуть на блистательного писателя и необыкновенно остроумного человека, каким был Оскар Уайльд.

1905 год

**«Epistola: in carcere et vinculis»<sup>3</sup>**

Тюрьма Ее Величества, Реддинг, январь – март 1897 г.

Дорогой Бози!<sup>4</sup>

После долгого, но, увы, тщетного ожидания твоих писем я решил написать тебе первым – и ради тебя, и ради себя самого, ибо мне невыносима мысль, что за целых два года заточения я не получил от тебя ни единой строчки и не имел никаких новостей о тебе, за исключением тех, что причинили мне боль.

Наша роковая и столь злосчастная дружба завершилась для меня катастрофой и публичным позором. Тем не менее память о нашей прежней привязанности все так же во мне жива, и мне было бы грустно думать, что может наступить такое время, когда ненависть, горечь и презрение займут в моем сердце место, принадлежавшее в прошлом любви. Думаю, ты и сам в душе понимаешь, что лучше написать мне сюда, в эту обитель тюремного одиночества, чем без данного мной разрешения публиковать мои письма или, хотя я не просил тебя об этом, посвящать мне стихи, тогда как в случае, если ты мне напишешь в тюрьму, мир ничего не узнает о том, какие слова, исполненные скорби или страсти, раскаяния или равнодушия, ты выберешь для своего ответа, в каких выражениях воззовешь к моим чувствам.

У меня нет сомнений, что в этом моем послании, в котором я собираюсь говорить о твоей и о своей жизни, о нашем прошлом и будущем, о приятных вещах, ныне воспринимаемых с горечью, и о горьких вещах, вспоминаемых теперь с удовольствием, ты найдешь много такого, что может больно ранить твое самолюбие.

Если это и в самом деле окажется так, то ты должен перечитывать мое письмо до тех пор, пока оно не убьет в тебе это твое пресловутое самолюбие.

Если же ты найдешь в нем нечто такое, в чем, на твой взгляд, тебя обвиняют несправедливо, то тебе следует вспомнить простую истину: человек должен радоваться, что есть еще такие грехи, в которых он не повинен. Ну а если хоть одна фраза в моем письме вызовет у тебя слезы – что ж, плачь, как плачем все мы в нашей тюрьме, где днем, точно так же как ночью, нам только и остается, что проливать слезы. Только так ты можешь спасти себя.

Но если ты снова отправишься к своей матери жаловаться на меня (как это было в том случае, когда я с презрением отозвался о тебе в своем письме к Робби), с тем чтобы она льстивыми утешениями вернула тебе прежнее самомнение и самодовольство, ты окончательно погубишь себя. Стоит тебе найти хоть одно ложное оправдание для себя, как тотчас же ты найдешь еще сотню, и в результате останешься точно таким, каким был всегда.

Неужели ты по-прежнему утверждаешь, как это следует из твоего ответа на письмо Робби, будто я «приписываю тебе недостойные побуждения»? Полно тебе: никаких побуждений у тебя

<sup>3</sup> «Epistola: in Carcere et Vinculis» – «Послание: в темнице и оковах». Такое название дал своей исповеди сам Уайльд; Росс решил воспроизвести его в подзаголовке (лат.).

<sup>4</sup> Бози – неформальное имя лорда Альфреда Дугласа (1870–1945), третьего сына маркиза Куинзбери. Лорд Дуглас, к которому, собственно, и обращено послание Оскара Уайльда, сыграл в жизни Уайльда поистине роковую роль.

никогда и не было. Ненасытная жажда удовольствий – вот весь смысл твоей жизни. А побуждения – это ведь духовные устремления. Должно быть, ты также считаешь, что был «слишком молод», когда началась наша дружба? Но твой недостаток заключался не в том, что ты знал слишком мало о жизни, а скорее в том, что ты знал о ней слишком много. К тому времени ты уже оставил далеко позади утреннюю зарю ранней юности в ее нежном цветении, с ее ясным и чистым светом, ее невинностью и радостным предвкушением того, что грядет впереди. Ты стремительно промчался мимо романтики прямо в реальность.

Сточная канава и ее обитатели – вот что привлекало тебя. Это и было причиной тех неприятностей, попав в которые ты искал моей помощи, ну а я, побуждаемый жалостью к тебе и добротой своей, поспешил тебя выручить, поступив, по мудрому мнению света, очень немудро.

Ты должен прочитать это письмо до конца, пусть даже каждое слово в нем и покажется тебе обжигающим пламенем или острым хирургическим скальпелем, от которых дымится или кровоточит нежная плоть. Помни, что тот, кого люди считают глупцом, необязательно выглядит таковым в глазах богов. Даже если кто-то ничего не ведает об Искусстве во всем разнообразии его форм или о причудливых поворотах Мысли в ее многовековом развитии; если он никогда не слышал о величавости латинского стиха или о сладкозвучности эллинской речи; если он даже не подозревает о древней тосканской скульптуре или о елизаветинской песенной поэзии, – этот человек тем не менее может быть преисполнен величайшей мудрости.

Истинный же глупец, над кем потешаются боги, – это тот, кто не сумел познать самого себя. Я и сам был таковым, причем слишком долго. Ты же остался таковым до сих пор. Так не будь же больше глупцом. И не нужно ничего бояться.

Самый большой порок человека – поверхностность ума. Во всем, что происходит в жизни человека, есть свой глубокий смысл. Учти также еще одно: как бы мучительно тебе ни было это читать, еще мучительнее мне это излагать на бумаге.

Незримые Силы всегда благоволили к тебе. Они давали тебе возможность наблюдать за причудливыми и трагическими ликами Жизни, словно за переливами цвета в многогранном кристалле. Голову Медузы, обращающую в камень любого, кто бросит на нее взгляд, было тебе дозволено видеть лишь отраженной в зеркале. Ты можешь по-прежнему разгуливать на свободе среди цветов. У меня же насильно отняли этот прекрасный мир – мир, полный движения и ярких красок.

Начну с признания в том, что в случившемся более всего виноват я сам, и сознавать это мне мучительно больно. Да, да, в том, что я сижу сейчас в этой темной камере, облаченный в тюремную одежду, обесчещенный и раздавленный, я виню одного лишь себя. Тревожными, лихорадочными, тоскливыми ночами и мучительно долгими, монотонно однообразными днями меня постоянно гложет мысль, что во всем виноват один только я. Я виню себя в том, что позволил дружбе с тобой занять столь огромное место в своей жизни – дружбе, зародившейся, увы, не на интеллектуальной основе, дружбе, основанной не на стремлении творить и созерцать прекрасное.

С самого начала нас разделяла слишком глубокая пропасть. В школе ты учился спустя рукава, в университете – и того хуже. Тебе трудно было понять, что художнику – в особенности такому художнику, как я, чей уровень творчества зависит в первую очередь от духовного настроения, – необходимо для совершенствования своего искусства полное духовное единение с окружающими, чисто интеллектуальная атмосфера, покой, тишина, уединение. Ты восхищался творениями, выходившими из-под моего пера, ты получал огромное удовольствие от блистательного успеха моих пьес на премьерах и не менее блистательных банкетов после них, ты гордился – и это вполне естественно – близкой дружбой с таким прославленным писателем, как я, но ты совершенно не понимал, какие условия нужны для того, чтобы создавать произведения искусства.

Напоминаю тебе, что за все то время, пока мы с тобой были вместе, я не написал ни единой строчки, – и это вовсе не полемическое преувеличение, это чистая правда. И в Торки,<sup>5</sup> и в Горин-

<sup>5</sup> Торки – приморский курорт с минеральными водами в графстве Девоншир (юго-запад Англии).

ге,<sup>6</sup> и в Лондоне, и во Флоренции – словом, в любом месте, где ты был рядом со мной, я вел абсолютно бесплодную и лишённую творчества жизнь. А ты, к сожалению, почти постоянно был рядом.

Помню, например, как в сентябре 93 года – и это лишь один из многих подобных примеров – я снял в центре Лондона апартаменты с единственной целью поработать там без помех: к тому времени истек срок, предусмотренный договором с Джоном Хэаром,<sup>7</sup> которому я обещал написать новую пьесу, вследствие чего тот подгонял меня.

Первую неделю ты мне не мешал. Незадолго до этого у нас с тобой произошла небольшая размолвка – и в этом не было ничего удивительного, учитывая несовпадение наших мнений относительно художественных достоинств твоего перевода «Саломеи». Некоторое время после нашей маленькой ссоры ты ограничивался тем, что посылал мне довольно глупые письма по этому поводу. За ту неделю я написал и отдал до мелочей первое действие «Идеального мужа» – в таком виде это действие впоследствии и исполнялось на сцене. Но на второй неделе ты решил помириться со мной, и работа моя практически остановилась. Каждое утро, ровно в одиннадцать тридцать, я приезжал в свою Сент-Джеймскую<sup>8</sup> квартиру, чтобы иметь возможность думать и писать без помех, от которых в лоне семьи оградить себя я не мог, хотя домашние и старались не беспокоить меня. Но ты не давал мне заняться творчеством.

Ровно в двенадцать ты подкатывал к моему подъезду и сидел у меня до половины второго, выкуривая сигарету за сигаретой и болтая о всяческих пустяках, а затем мне приходилось везти тебя на ленч в «Кафе-Ройял»<sup>9</sup> или в «Баркли».<sup>10</sup> Ленч, обильно запиваемый всевозможными liqueurs, продолжался, как правило, до половины четвертого.

После этого ты на час уезжал в «Уайтс»,<sup>11</sup> а к чаю снова появлялся в моих апартаментах и оставался у меня до тех пор, пока не наступало время одеваться к обеду. Обедали мы либо в «Савое»,<sup>12</sup> либо на Тайт-стрит<sup>13</sup> и расставались, как правило, далеко за полночь, считая обязательным завершать столь увлекательно проведенный день ужином в «Уиллисе».

Так и протекала моя жизнь все эти три памятных месяца – изо дня в день, за исключением разве что тех четырех дней, когда ты ездил за границу.

Но и тогда мне пришлось, разумеется, отправиться за тобой в Кале, чтобы доставить тебя домой. Для человека с моей натурой и моим темпераментом очутиться в таком положении было и нелепо и трагично одновременно.

Хочется надеяться, что ты это и сам сейчас сознаешь. Ты должен был к этому времени понять, насколько пагубным для твоего духовного развития и для моего творчества как художника являлось и твое неумение проводить время в одиночестве, и присущее тебе стремление постоянно быть в центре внимания, и твое обыкновение распоряжаться чужим временем, как своим, и отсутствие в тебе способности подвергать себя длительному умственному напряжению, и то несчастливое стечение обстоятельств (а мне хотелось бы думать, что все объясняется именно этим), которое помешало тебе, когда ты сталкивался с чисто интеллектуальными проблемами, усвоить «оксфордскую манеру», заключающуюся в искусстве изящно играть идеями, тогда как

<sup>6</sup> Горинг – район курортного города Уортинга на побережье Ла-Манша, в 16 км от Брайтона.

<sup>7</sup> Джон Хэар (1844–1921) – английский актер и театральный режиссер.

<sup>8</sup> Сент-Джеймс – район в центре Лондона.

<sup>9</sup> «Кафе-Ройял» – старинный фешенебельный лондонский ресторан.

<sup>10</sup> «Баркли» – лондонская гостиница-люкс на улице Баркли-Стрит.

<sup>11</sup> «Уайтс» – старейший лондонский клуб консерваторов, основанный в 1693 г.

<sup>12</sup> «Савой» – одна из самых дорогих лондонских гостиниц (находится на улице Странд).

<sup>13</sup> Тайт-стрит – улица в Лондоне в районе Челси, где с 1884 по 1895 г. жила в доме 16 семья Уайльдов.

ты только и умел, что силой навязывать свои мнения.

А это, в сочетании с тем, что все твои устремления и интересы всегда были направлены на прожигание жизни, а не на Высокое Искусство, и привело к упомянутым прискорбным последствиям.

Мне становится стыдно и горько, когда я сравниваю нашу с тобой дружбу и мою дружбу с другими молодыми (моложе, чем ты) людьми, – такими, например, как Джон Грей<sup>14</sup> или Пьер Луи.<sup>15</sup> Только общаясь с ними, я жил настоящей жизнью, жизнью творческой и возвышенной.

Что касается катастрофических последствий нашей дружбы с тобой, то об этом говорить я сейчас не буду.

Мне хотелось бы просто поразмышлять о характере нашей дружбы – с самого ее начала и до конца. В интеллектуальном отношении она, несомненно, была для меня губительной, хотя, не спорю, в тебе проявлялись зачатки художественной натуры, но не более, чем зачатки.

Наверно, мы повстречались с тобой слишком рано, а может быть, слишком поздно – мне и самому сейчас это трудно понять. Но я чувствовал себя самим собой лишь тогда, когда ты куда-нибудь уезжал. Как, например, в тот раз, в начале декабря упомянутого мною года, когда мне удалось уговорить твою мать отослать тебя на время из Англии.

Сразу же после твоего отъезда я собрал по кусочкам разорванное в клочья кружево моего воображения, снова взял свою жизнь в собственные руки и не только завершил недописанные три действия «Идеального мужа», но и успел сочинить, почти доведя до финала, еще две пьесы, причем совершенно иного рода – «Флорентинскую трагедию» и «La Sainte Courtisane».<sup>16</sup>

И вдруг возвращаешься ты, непрошенный и неожиданный, нарушая безмятежное состояние моего духа. Эти два произведения, буквально прерванные на полуслове, так и остались незавершенными: я не был в состоянии снова взяться за них, не был в силах вернуть настроение, с которым их создавал. Теперь, после того как ты и сам опубликовал свой сборник стихов, ты лучше сможешь понять, что я имею в виду.

Впрочем, вне зависимости от того, поймешь ты это или нет, факт остается фактом – пока ты был рядом со мной, ты оказывал абсолютно губительное влияние на мое творчество, и это ужасное обстоятельство всегда таилось в самом сердце нашей дружбы. Мне стыдно, что я позволял тебе столь беспардонно становиться между мною и моим творчеством, и в этом я всецело виню себя. Ты ведь даже не подозревал об этом, не мог понять этого, не сознавал своего пагубного влияния на меня. Да и откуда было тебе понять?!

Ты жил одними своими пиршествами и прихотями. Тобой владела всепоглощающая потребность развлекаться, получать наслаждение от жизни, и развлечения твои были как обычного, так и не совсем обычного рода. Они полностью соответствовали твоей натуре, и тебе в определенные моменты казалось, что ты без них обойтись не можешь. Мне следовало запретить тебе бывать без приглашения в моем доме или в снятых мной апартаментах, и я виню только себя за то, что проявил слабость, не сделав этого. Да, иначе как слабостью это не назовешь.

Полчаса занятий Искусством всегда значили для меня больше, чем год, проведенный с тобой. В сущности, ничто в моей жизни на всем ее протяжении не играло такую огромную роль, как Искусство. Для художника проявление такой слабости равносильно совершению преступления, особенно в том случае, когда из-за этого полностью парализуется его творческое воображение.

Я виню себя также за то, что позволил тебе довести меня до полного и скандального разорения. Помню, как однажды утром, в начале октября 92 года, мы с твоей матерью, прогуливаясь в Брэкнелле<sup>17</sup> по уже начавшему желтеть лесу, присели на скамейку передохнуть. (В то время я

<sup>14</sup> Джон Грей (1866–1934) – английский поэт, послуживший Уайльду прототипом Дориана Грея (одно время Джон Грей в письмах к Уайльду даже подписывался «Дориан»).

<sup>15</sup> Пьер Луи (1870–1925) – французский писатель.

<sup>16</sup> «La Sainte Courtisane» – «Святая блудница» (фр.).

<sup>17</sup> Брэкнелл – английский город в графстве Беркшир.



знал тебя еще очень плохо. До этого я останавливался у тебя в Оксфорде, куда приезжал на три дня, с субботы по понедельник, а ты после этого десять дней гостил у меня в Кромере,<sup>18</sup> где развлекался игрой в гольф.)

Разговор наш зашел о тебе, и твоя мать стала рассказывать мне о твоём характере. Она поведала мне о главных твоих недостатках, заключающихся в том, что ты, во-первых, не в меру тщеславен, а во-вторых, как она выразилась, «не умеешь обращаться с деньгами». Хорошо помню, что это тогда показалось мне даже забавным. Я и представить себе не мог, что первый из твоих недостатков приведет меня в тюрьму, а второй – к банкротству.

Мне казалось в то время, что тщеславие даже украшает молодого человека, как изящный цветок в петлице; ну а что касается расточительности (а твоя мать, я был уверен, не имела в виду ничего более, чем этот простительный недостаток), то благоразумием в отношении денег и умением быть бережливым ни я, ни кто-либо другой в моей семье никогда не отличались. Однако не минуло и месяца с начала нашей дружбы, как мне полностью открылось, о каком именно «неумении обращаться с деньгами» говорила твоя мать.

Свойственные тебе замашки прожигателя жизни и твои непрестанные требования дать тебе денег – ибо ты считал, что все твои развлечения, независимо от того, участвую ли я в них или нет, должен оплачивать я, – привели меня через недолгое время к серьезным денежным затруднениям. Это было тем более досадно, что твое расточительство, становившееся просто-таки безудержным по мере того, как ты все настойчивее предъявлял претензии на мою жизнь, носило монотонно однообразный характер – во всяком случае, так мне казалось.

Деньги уходили главным образом на чревоугодничество, обильные возлияния и тому подобные удовольствия. Конечно, приятно сидеть за столом, алым от роз и вин, но не каждый же день!

А ты ведь ни в чем не знал меры, тебе был неведом хороший вкус. Ты требовал без изыщества и принимал без благодарности.

Со временем ты решил, что имеешь право не просто жить на мой счет, а жить утопая в роскоши, ранее для тебя непривычной, и это только обостряло твои аппетиты. В конце концов ты дошел до того, что каждый раз, просаживая все свои деньги в каком-нибудь казино, скажем в Алжире, ты, недолго думая, наутро телеграфировал мне в Лондон, уведомляя меня о необходимости перевести сумму проигрыша на твой счет в банке, после чего выбрасывал эту проблему из головы.

Знай же, что, начиная с осени 1892 года и вплоть до того дня, когда меня заключили в тюрьму, я истратил на тебя более пяти тысяч фунтов наличными, не говоря уже об оплаченных мною счетах. Надеюсь, это даст тебе хоть какое-то представление о том, какого рода жизнь ты все это время вел. Если тебе кажется, будто я преувеличиваю, то напомним тебе, что мои расходы за один только день, проведенный с тобою в Лондоне – включая стоимость ленча, обеда и ужина, а также затраты на развлечения, экипажи и на все остальное – составляли в среднем от двенадцати до двадцати фунтов, ну а расходы за неделю – соответственно от восьмидесяти до ста тридцати фунтов. За три месяца, проведенные с тобой в Горинге, я истратил (с учетом, естественно, платы за наем жилья) тысячу триста сорок фунтов.

Уже после случившейся со мной катастрофы, когда мне пришлось вместе с судебным исполнителем, ведающим делами о банкротстве, пересмотреть одну за другой все статьи расходов, которые я делал за последние годы, я просто-таки ужаснулся, увидев общую сумму. «Скромная жизнь и высокие мысли»<sup>19</sup> – такого рода идеал явно не прельщал тебя в тот период, но есть же всему предел! Та невероятная скорость, с которой ты тогда проматывал мои деньги, не делала чести нам обоим.

Как-то раз мы с Робби зашли пообедать в маленький ресторанчик в Сохо, и обед этот за-

---

<sup>18</sup> Кромер – приморский курорт в восточной Англии, графство Норфолк, на побережье Северного моря.

<sup>19</sup> Строка из стихотворения Вордсворта «Сонет».

помнился мне как один из самых восхитительных в моей жизни. Обошелся он нам во столько же шиллингов, во сколько фунтов мне обходились обеды с тобой. А после другого обеда с Робби я написал первый и самый лучший из всех моих диалогов.<sup>20</sup> И идея диалога, и его название, и трактовка, и манера написания – все это пришло ко мне, когда мы с ним сидели за table-d'hôte,<sup>21</sup> заплатив каких-то три с половиной франка.

А вот от наших с тобой пиршеств во мне ничего не оставалось, кроме тягостного сознания, что съедено и выпито слишком много. Мое потакание твоим непомерным аппетитам шло тебе только во вред, как ты и сам, я думаю, теперь понимаешь. Зачастую это делало тебя алчным, порой нагловатым и неизменно неучтивым.

Редко когда я испытывал радость или хотя бы удовлетворение, угощая тебя обедами. Ты никогда не считал нужным поблагодарить меня, хотя этого требует элементарная светская вежливость (правда, я и не ждал благодарностей, полагая, что такого рода формальности вносят неловкость в отношения между друзьями).

Ты должен был хотя бы не забывать о моей потребности в теплоте дружеского общения, о том, каким очарованием может быть исполнена душевная беседа – древние греки называли такое общение фесрньн кбкьн,<sup>22</sup> – и о том, насколько необходима в отношениях между людьми сердечность, которая делает жизнь уютнее и, подобно музыке, настраивает нас на возвышенный лад, своей мелодичностью смягчая равнодушие и жестокость окружающего нас мира.

И хотя тебе может показаться странным, что человек, оказавшийся в столь ужасном положении, как я, находит возможным считать, что бесчестье бесчестьем рознь, я готов откровенно признать, что, безрассудно выбрасывая все эти деньги на ветер и позволяя тебе просаживать мое состояние во вред и тебе и себе, я предстал в глазах общества, да и в своих собственных, человеком, чье банкротство вызвано такой постыдной и заурадной причиной, как расточительность, а от этого я чувствую себя вдвойне опозоренным. Не для такого удела я был рожден.

Но, пожалуй, больше всего я виню себя за то, что позволил тебе довести себя до полного нравственного падения. Личность человека основывается на его воле, но вся беда в том, что моя воля стала целиком подвластна твоей. Возможно, это звучит и нелепо, но тем не менее это так.

Постоянно устраиваемые тобой ужасные сцены, которые, надо полагать, были для тебя чуть ли не физической потребностью и которые обезображивали тебя и внешне и внутренне до такой степени, что на тебя было страшно смотреть и еще страшнее слушать тебя; унаследованная тобой от отца чудовищная мания писать отвратительные, просто-таки омерзительные письма; твоя полная неспособность управлять своими чувствами и настроениями, что проявлялось то в длительных периодах обиженного, угрюмого молчания, то в почти эпилептических приступах внезапного бешенства, – обо всем этом я как-то написал тебе в одном из своих писем. (Правда, ты по своей обычной небрежности забыл его не то в «Савое», не то в какой-то другой гостинице, а потом оно неожиданно всплыло во время судебного слушания, когда адвокат твоего отца счел нужным огласить его. Письмо это было по-своему трогательным, но разве могло тебя что-нибудь тронуть в то время...)

Так вот, все эти перечисленные мной обстоятельства и явились первоначальной причиной того, что я стал уступать тебе во всех твоих требованиях, становившихся с каждым днем все более непомерными, и эти уступки оказались фатальными для меня. Ты попросту взял меня измором.

Натура мелкая одержала победу над глубокой натурой – пример тирании более слабого над более сильным. А это, как я писал в одной из своих пьес, «единственная форма тирании, от которой избавиться невозможно».<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Уайльд имеет в виду свой диалог «Упадок лжи».

<sup>21</sup> Table-d'hôte – табльдот, общий стол с общим меню в гостиницах, пансионатах, кафе и т. п. (фр.)

<sup>22</sup> Фесрньн кбкьн – сладкая отрада (др. – гр.).

<sup>23</sup> Комедия «Женщина, не стоящая внимания», III действие.

Вот и я не смог избавиться от твоей тирании. Во взаимоотношениях с другими людьми нам приходится выбирать определенную *moyen de vivre*<sup>24</sup> – в зависимости от того, с кем мы имеем дело. В случае с тобой я должен был либо отказаться от частицы своего «я», подчинив себя твоей воле, либо отказаться от дальнейшей дружбы с тобой. Другого выбора у меня не было.

Из-за своей глубокой к тебе привязанности, хотя ты и не был ее достоин; из-за бесконечной жалости к тебе, обремененному столькими недостатками и в характере и в поведении; из-за своей пресловутой доброты и кельтской лени; из-за того, что мне с моей артистической натурой были ненавистны унижительные сцены и вульгарные выражения; из-за свойственной мне в то время полной неспособности испытывать гнев или обижаться; из-за того, что мне было невыносимо видеть, как люди делают свою жизнь нестерпимой; из-за вещей, которые мне, чей взор всегда был устремлен на нечто более возвышенное, казались ничтожными пустяками, не стоящими того, чтобы думать о них или проявлять к ним интерес более чем на один миг, – ввиду всех этих причин, какой бы несерьезной каждая из них ни казалась, я всегда уступал тебе.

Как и следовало ожидать, твое стремление распоряжаться моей личной жизнью, твои попытки подчинить меня своей власти, твои алчные аппетиты становились со временем все более неукротимыми и безрассудными.

Самые низменные побуждения, самые низкопробные вкусы, самые вульгарные увлечения все в большей степени определяли твою жизнь, но тебе этого было мало: тебе хотелось, чтобы эти сомнительные принципы были определяющими и в жизни других людей. Ты готов был пожертвовать ради этого жизнью любого из них, причем без малейших колебаний. Ты прекрасно знал: чтобы настоять на своем, достаточно устроить мне сцену, но спустя короткое время ты стал переходить в проявлениях грубости и вульгарности (думаю, и сам того не сознавая) все допустимые пределы. Кончилось тем, что ты полностью потерял представление о том, к чему стремишься и что тебе нужно от жизни. Прибрав к рукам мой творческий гений, мою волю и мое состояние, ты, в слепоте ненасытной алчности, решил завладеть и моей душой, подчинив себе целиком мое существование как человеческой личности. Что ж, ты своего добился.

В ту трагическую пору моей жизни, как раз перед тем как я позволил себя втянуть в нелепый судебный процесс, совершив тем самым роковую ошибку, я очутился меж двух огней: с одной стороны, меня преследовал твой отец, оставляя в моем клубе свои карточки с грязнейшими инсинуациями в мой адрес, а с другой стороны – меня преследовал ты, присылая мне не менее чудовищные письма.

Но самым ужасным было письмо, которое я получил от тебя в то утро, когда ты против моей воли затащил меня в полицейский суд,<sup>25</sup> с тем чтобы там выдали этот дурацкий ордер на арест твоего отца. Хуже того письма ты мне никогда ничего не писал, да еще по такому постыдному поводу.

Вы с отцом сумели окончательно сбить меня с толку. Я лишился остатков здравого смысла – вместо него остался один только ужас.

Скажу откровенно: больше всего мне хотелось отделаться от вас обоих, но я не знал как. И я безмолвно, подобно смиренному агнцу, позволил вам вести себя на убой. Я допустил чудовищную психологическую ошибку. Мне всегда казалось, что, уступая тебе в мелочах, я не делаю ничего страшного. Я был уверен, что, если наступит критический момент, я сумею мобилизовать свою волю и восстановлю ее естественное превосходство над тобой. Но вышло иначе. В критический момент оказалось, что мобилизовать свою волю я уже был не в силах.

Жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно. Мое обыкновение во всем тебе уступать, чему я поначалу не придавал никакого значения, как-то незаметно стало моей второй натурой. Сам того не сознавая, я позволил этой привычке укорениться в моем характере.

<sup>24</sup> *Moyen de vivre* – манера поведения (фр.).

<sup>25</sup> Полицейский суд – существовал в Англии до 1949 г.; рассматривал дела о мелких преступлениях.



Уолтер Пейтер<sup>26</sup> в эпилоге к первому изданию своих эссе проницательно заметил, что «слабостям человеческим свойственно легко превращаться в привычку».

Оксфордские ученые-педанты тут же решили, что эта мысль является ничем иным, как перепевом достаточно скучных положений «Этики» Аристотеля, но на самом деле эти слова таят в себе новую и совершенно потрясающую, хотя и пугающую истину.

Да, я позволял тебе так долго и так незаметно «подмывать» фундамент моего характера, что, превратившись в привычку, это оказалось не просто моей Слабостью, а моей Гибелью.

Мои нравственные устои были расшатаны даже больше, чем основы моего творчества.

Когда был выдан ордер на арест твоего отца, ты, разумеется, стал вести себя еще более своевольно, а я, вместо того чтобы остаться в Лондоне, посоветоваться с умными людьми и, спокойно оценив ситуацию, в которой очутился по вашей с отцом милости, сообразить, что дал заманить себя в чудовищную ловушку («капкан для дураков», по выражению твоего отца), – так вот, вместо всего этого я, по твоему настоянию, повез тебя в Монте-Карло, самое отвратительное место на земле, где ты дни и ночи напролет – то есть все время, пока было открыто казино, – играл на деньги.

Ну а я, которому баккара, как и все другие азартные карточные игры, абсолютно безразлична, был вынужден коротать время в одиночестве, бесцельно слоняясь по городу.

Ты упорно уходил от разговора о положении, в которое я попал из-за тебя и твоего отца, не желая уделить на это и пяти минут. Я тебе только и нужен был для того, чтобы оплачивать стоимость твоего проживания в отеле и твои проигрыши в казино. Стоило мне завести речь о том, какие тяжелые испытания могут меня ждать впереди, как на твоём лице появлялось выражение отчаянной скуки.

Новая марка шампанского, которую нам рекомендовали взять к ужину, вызвала у тебя куда больший интерес.

Когда мы вернулись в Лондон, те из моих друзей, кто искренне желал мне добра, стали уговаривать меня уехать за границу и не являться на это отвратительное судилище. Но ты уверял меня, что они дают мне этот совет далеко не из лучших побуждений и что слушать их заставляет меня не что иное, как трусость. В конце концов ты заставил меня остаться, убеждая начисто отрицать свою вину на суде, а при необходимости и прибегнуть к даче ложных показаний, совершенно нелепых и неправдоподобных.

Дело, разумеется, закончилось тем, что меня взяли под стражу, тогда как твой отец стал настоящим героем дня – да что там героем дня: его имя, а значит, и твое фамильное имя, возведено теперь, как это ни смешно, в ранг Бессмертных. Да, в истории рода человеческого было столько абсурдных, гротескных и трагикомических моментов, что это придает ей не слишком серьезный характер и заставляет думать, что Клио, муза истории, – самая легкомысленная из всех Муз. Ведь твой отец будет отныне числиться среди добродетельных, чистых сердцем героев душеспасительных книг для воскресных школ, а сам ты займешь место рядом с отроком Самуилом,<sup>27</sup> тогда как я окажусь в самой глубокой трясине Malebolge,<sup>28</sup> где-то между Жилем де Ретцем<sup>29</sup> и маркизом де Садом.

Конечно, я должен был бы порвать с тобой, вытряхнуть тебя из своей жизни, как вытряхивают ужалившее насекомое из одежды.

<sup>26</sup> Уолтер Пейтер (Патер) (1839–1894) – английский писатель и критик. По своим эстетическим воззрениям был близок прерафаэлитам. Много своих работ посвятил культуре Возрождения. Уайльд был сначала последователем, а затем и другом Пейтера.

<sup>27</sup> Самуил – пророк, первосвященник и судья у израильтян, с детства отличавшийся набожностью. Имя Самуил в переводе с древнееврейского означает «испрошенный у Бога».

<sup>28</sup> Malebolge – Злые щели: так Данте называет в своей «Божественной комедии», песнь XVIII, то место в восьмом круге ада, где находятся глубокие рвы (Злые щели).

<sup>29</sup> Жиль де Ретц (1404–1440) – маршал Франции, известный своей жестокостью. Был казнен за убийства детей, чью кровь будто бы использовал в алхимических опытах. Прототип Синей Бороды в одноименной сказке Перро.

В своей самой замечательной пьесе<sup>30</sup> Эсхил рассказывает нам об одном важном вельможе, в доме которого живет львенок (леьнфпт қһйн). Вельможа души в нем не чаёт, для него нет радостнее минуты, чем та, когда его любимец прибегает к нему, поблескивая глазами, и ласкается, выпрашивая угощение (цбйдсцрът рпфЯ чеЯсб, убЯнщн фЭ гьуфспт РнбгкбЯт). Но львенок вырастает в огромного льва, и в нем полностью проявляются дремавшие до тех пор инстинкты (ипт фь рсьуие фбкфЭщн), свойственные этому хищнику: он уничтожает и вельможу, и его дом, и все, чем тот владел.

Думаю, моя судьба подобна судьбе этого человека. Но ошибка моя заключалась не в том, что я не мог решиться расстаться с тобой, а в том, что я расставался с тобой слишком часто. Чуть ли не каждые три месяца я ставил точку на нашей дружбе с тобой, но каждый раз, когда я это делал, тебе удавалось мольбами, телеграммами, письмами, посредничеством твоих и моих друзей, а также другими способами добиваться, чтобы я позволил тебе вернуться. Помню, как в конце марта 93 года, когда ты уехал из моего дома в Торки, я твердо решил никогда больше с тобой не разговаривать и ни при каких обстоятельствах не приближать тебя к себе – настолько безобразной была сцена, которую ты устроил вечером накануне отъезда. Но ты забрасывал меня письмами и телеграммами из Бристоля, умоляя простить тебя и согласиться на встречу с тобой.

Твой оксфордский наставник, который после твоего отъезда оставался еще немного погостить у меня, сказал, что временами ты становишься совершенно невменяемым, не сознавая, что говоришь и делаешь, и что многие, если не все преподаватели в колледже Магдалины придерживаются того же мнения.<sup>31</sup> Что ж, я согласился встретиться с тобой и, конечно, простил тебя.

По дороге в Лондон ты стал настойчиво упрашивать меня отвезти тебя в «Савой». Увы, та встреча с тобой оказалась для меня роковой.

Три месяца спустя, в июне, мы с тобой поехали в Горинг. С субботы до понедельника у нас гостили твои оксфордские друзья. Утром в понедельник, когда они уехали, ты устроил мне сцену настолько дикую, настолько невыносимо тяжелую, что я решил расстаться с тобой.

Отлично помню, как мы стояли на ровной крокетной площадке посреди чудесного газона и я доказывал тебе, что мы портим друг другу жизнь, что дружба с тобой губительна для меня – да и тебе от нее нет особой радости, и что единственное разумное для нас решение – расстаться бесповоротно и окончательно.

Ты, мрачный и злой, уехал сразу же после ленча, оставив для меня у дворецкого крайне оскорбительное письмо, которое тот должен был вручить мне после твоего отъезда. Но не прошло и трех дней, как ты телеграфировал мне из Лондона, моля о прощении и позволении вернуться в Горинг. Собственно, дом тот я снял исключительно ради тебя, и даже слуги, которых я нанял на это время, были, по твоей просьбе, твоими же собственными. Меня всегда огорчало, что у тебя такой ужасный характер, и мне было искренне тебя жаль, потому что от этого страдал и ты сам.

Я был очень к тебе привязан. Поэтому я позволил тебе вернуться и простил тебя.

А еще через три месяца, в сентябре, ты принялся устраивать мне новые сцены. Все началось с того дня, когда я откровенно высказался о сделанном тобой переводе моей «Саломеи», указав на ряд просто-таки ученических ошибок. К настоящему времени ты, должно быть, достаточно хорошо освоил французский, чтобы понять, насколько этот перевод не делал тебе чести как студенту Оксфордского университета, ну а самое главное – он был недостойн того произведения, которое ты пытался перевести на английский. В то время ты, конечно, не мог оценить справедливости моих замечаний и написал мне по этому поводу в высшей мере несдержанное письмо, в котором заявил, что «в интеллектуальном отношении» ты мне «абсолютно ничем не обязан».

Помню, что, читая эти строки, я подумал: «А ведь он прав». За все время нашей дружбы ты впервые написал мне хоть что-то, с чем я полностью мог согласиться. Я словно прозрел, поняв,

<sup>30</sup> Трагедия Эсхила «Агамемнон».

<sup>31</sup> Альфред Дуглас, как и Оскар Уайльд до него, учился в колледже Магдалины Оксфордского университета.

что натура, менее духовно развитая, подошла бы тебе гораздо больше, чем я. Уверяю тебя, говорю я об этом вовсе без горечи, а просто как о факте, определявшем наши с тобой отношения. Ведь в конечном счете любые отношения между людьми, будь то брак или дружба, строятся на словесном общении, а нормальное словесное общение невозможно без общих интересов. Так вот, у двух человек различного культурного уровня интересы могут быть общими в единственном случае – если это интересы того из них, чей уровень более низок.

Да, с одной стороны, тривиальность в мыслях и поступках – поистине восхитительное качество, и на этой распространенной человеческой слабости я построил совершенно блистательную философию, нашедшую отражение в моих пьесах и парадоксах. Но, с другой стороны, пустословие, суэта и весь этот вздор нашей жизни все более и более утомляли меня. Ну а мы с тобой встречались, образно говоря, только в болотной трясине, и, какой бы захватывающей, какой бы невероятно упоительной ни казалась тебе та единственная тема, к которой ты неизменно сводил любой разговор, я в конце концов порядком этим пресытился, и мне все чаще становилось смертельно скучно. Однако я покорно с этим мирился.

Мирился я и с твоим пристрастием к мюзик-холлам, с твоей манией безрассудно сорить деньгами на еду и питье, со всеми другими твоими малопривлекательными привычками. Я просто вынужден был это терпеть, понимая, что это часть той высокой цены, которую должен заплатить всякий, кто хочет дружить с тобой.

Когда после Горинга я решил съездить на пару недель в Динар,<sup>32</sup> ты пришел в страшную ярость оттого, что я не беру с собой и тебя. Перед отъездом ты устроил мне в отеле «Элбемарл» целую серию неприятнейших сцен, а потом посылал мне в имение, где я гостил несколько дней, столь же неприятные телеграммы.

Помнится, перед тем как уехать, я сказал тебе, что ты должен хоть немного побыть со своими родными, так как за целое лето ты не пробыл с ними и одного дня. На самом же деле, если быть откровенным, я попросту устал от твоего общества. Мы провели вместе целых двенадцать недель, и я хотел отдохнуть от тебя, освободиться от того страшного напряжения, которое я испытывал, когда ты был рядом со мной. Мне нужно было некоторое время побыть одному. Это было необходимо для восстановления спокойствия моей души.

Не стану скрывать: твое письмо – то самое, что я цитировал выше, – казалось мне чрезвычайно удобным предлогом для прекращения нашей фатальной дружбы. Я хотел расстаться с тобой цивилизованно, без скандалов и горьких упреков, что я уже и пытался сделать в то солнечное утро в Горинге, за три месяца до этого. Однако мне дали понять – и сделал это, скажу тебе откровенно, один из моих друзей, к которому ты обратился за сочувствием в эту трудную для тебя минуту, – что если твой перевод «Саломеи» будет тебе возвращен, как возвращают ученикам неудачное школьное сочинение, то это будет для тебя оскорблением, более того – этим я унижу тебя.

Он сказал, что я предъявляю к тебе в интеллектуальном отношении слишком высокие требования. Но что бы ты ни писал и что бы ты ни делал, продолжал он, ты остаешься все так же безгранично и безраздельно мне преданным.

Я не хотел быть чересчур к тебе строгим или обескураживать тебя в твоих литературных начинаниях, прекрасно понимая, что никакой перевод, если он, конечно, не сделан настоящим поэтом, не сможет передать должным образом ритм и колорит моего произведения, а с другой стороны, мне казалось, как и до сих пор кажется, что преданность, дружеская привязанность – это слишком прекрасные чувства, чтобы легко ими швыряться. Поэтому я не стал отвергать ни твоего перевода, ни твоей дружбы.

Ровно три месяца спустя, после целого ряда сцен, последняя из которых была даже более безобразной, чем предыдущие (в тот понедельник, вечером, ты явился ко мне в сопровождении двух или трех приятелей и устроил грандиозный скандал), я бежал от тебя за границу, буквально на следующее же утро, объяснив своей семье столь внезапный отъезд до нелепости неправдоподобной причиной и оставив слугам неверный адрес – из страха, что ты бросишься за мной вдо-

<sup>32</sup> Динар – морской курорт в Бретани, Франция.

гонку.

Помню, как под вечер того же дня, когда поезд, несясь как ветер, приближался к Парижу, я сидел в своем купе и думал, до чего же невозможной, бессмысленной и абсолютно невыносимой стала моя жизнь. Подумать только, мне, всемирно известному писателю, приходится бежать из Англии, чтобы попытаться спастись от дружбы, разрушающей во мне все возвышенное и совершенно губительной для меня как в моральном, так и в интеллектуальном отношении!

И кто же тот, от кого я бегу? Он не какое-то там чудовище, выползшее на свет Божий из зловонной сточной канавы или болотной трясины, чтобы опутать меня своими щупальцами и уничтожить меня. Нет, это молодой человек из тех же слоев общества, что и я, учившийся в том же колледже в Оксфорде, в котором в свое время учился и я, постоянный гость в моем доме.

Вслед за мной, как всегда, полетели одна за другой телеграммы, полные мольбы и раскаяния, но я не обращал на них никакого внимания. Тогда ты прибегнул к угрозам – дескать, если я не соглашусь повидаться с тобой, ты ни при каких обстоятельствах не согласишься ехать в Египет: ты ведь, надеюсь, помнишь, что, с твоего ведома и согласия, я убедил твою матушку отослать тебя в Египет, подальше от Лондона, где ты губил свою жизнь.

Я знал, что, если ты не уедешь, она будет ужасно огорчена, а потому, исключительно ради нее, я в конце концов сдался и согласился на встречу с тобой. Ну а при встрече, под влиянием нахлынувших на меня чувств, в трогательной сцене, о которой даже ты вряд ли сумел забыть, я простил тебя за все прошлое, хотя ни слова не сказал о будущем.

Помню, как, возвратившись на следующий день в Лондон, я сидел у себя в кабинете, подавленный и унылый, пытаюсь решить для себя, прав ли я или неправ, считая тебя безнадежно испорченным человеком, разрушающим и свою жизнь, и жизнь тех, кто тебя окружает, играющим поистине роковую роль в судьбе тех, кто тебя близко знает, а зачастую и тех, кто с тобой лишь едва знаком. Целую неделю я терзался сомнениями – не слишком ли я несправедлив к тебе и не ошибаюсь ли я, столь сурово осуждая тебя?

Но в самом конце недели мне вручили письмо от твоей матери, и, когда я прочел его, никаких сомнений у меня больше не оставалось. Она писала о твоём слепом, гипертрофированном самомнении, из-за которого ты ни во что не ставишь свою семью и называешь своего старшего брата, прекрасного человека с *candidissima anima*,<sup>33</sup> филистером; о твоей жуткой вспыльчивости, из-за которой она никогда не решается заводить с тобой разговор о той недостойной жизни, которую ты, как она знает, ведешь; о твоём отношении к деньгам, причиняющем ей постоянные огорчения, поводов для которых ты даешь более чем достаточно; о том, как быстро ты деградируешь и изменяешься к худшему.

Она, разумеется, понимала, что причина лежит в доставшейся тебе от предков ужасной наследственности, и откровенно признавалась в этом, а также в том, насколько это ее пугает. «Из всех моих детей, – писала она о тебе, – он единственный унаследовал роковой норы Дугласов». В конце письма она утверждала, что, на ее взгляд, наша дружба с тобой еще больше раздула твоё тщеславие и только усугубила твои недостатки, а потому настойчиво просила меня избегать встреч с тобой, особенно за границей.

Я тут же написал ей ответ, в котором выражал полное согласие с каждым ее словом. Но к этому я добавил еще много чего другого. Мне хотелось быть с ней по возможности откровенным, и я начал с того, что рассказал ей, как началась наша дружба.

В тот год ты заканчивал Оксфордский университет, и знакомство наше началось с того, что ты обратился ко мне с просьбой помочь тебе выпутаться из определенного рода неприятностей, причем очень серьезных.

Подобные неприятности, писал я ей далее, происходят в твоей жизни постоянно. По настоянию какого-то своего приятеля ты ездил с ним в Бельгию и жаловался на него за то, что он сумел уговорить тебя предпринять это путешествие.

Твоя мать обвинила меня тогда в том, что познакомил тебя с ним не кто иной, как я. И вот теперь, в этом своем письме, я ей написал, что на самом деле во всем виноват не я и не тот твой

<sup>33</sup> *Candidissima anima* – чистейшая душа (лат.).



приятель, а ты сам. В заключение я заверил ее, что не имею ни малейшего намерения встречаться с тобой за границей, и попросил ее удерживать тебя там как можно дольше – либо в качестве почетного атташе при посольстве (если это, конечно, возможно), либо (если это окажется невозможным) под предлогом изучения новых языков, а если и этот вариант не удастся, то под любым другим предлогом, какой ей только удастся найти. Словом, я просил задержать тебя там по меньшей мере на два или на три года – в равной степени для твоего, как и для моего блага.

А между тем из Египта постоянно приходили твои письма – я получал их буквально с каждой почтой, но оставлял без ответа: прочитывал и тут же рвал в клочья. Я не хотел иметь с тобой ничего общего, и решение мое было бесповоротным.

Теперь я всего себя с наслаждением отдавал служению Искусству, от которого по твоей милости столь долгое время был оторван. Но не прошло и трех месяцев, как твоя мать, чье достойное сожаления безволие сыграло в трагедии моей жизни роль не менее роковую, чем самодурство твоего отца, вдруг пишет мне – я нисколько не сомневаюсь, по твоему наущению, – что ты хотел бы получить от меня хоть какой-то ответ. Ну а чтобы у меня не оставалось предлога уклониться от переписки с тобой, она посылает мне твой афинский адрес, который, разумеется, я и без нее знал.

Сознаюсь, ее письмо полностью сбило меня с толку. Я не мог понять, как, написав мне такое откровенное письмо в декабре и получив от меня не менее откровенный ответ, она могла предлагать мне восстановить, а точнее, возобновить мою злосчастную дружбу с тобой.

Ее письмо нельзя было оставлять без ответа, и я снова принялся убеждать ее заполучить для тебя местечко в каком-нибудь заграничном посольстве, с тем чтобы помешать твоему возвращению в Англию. Но тебе я писать не стал и по-прежнему, как и до получения письма твоей матери, игнорировал все твои телеграммы.

В конце концов ты ничего лучшего не придумал, как телеграфировать моей жене, умоляя ее повлиять на меня и уговорить написать тебе. Наша дружба всегда огорчала ее, и не только потому, что ты никогда ей не нравился, но еще и потому, что она не могла не видеть, как постоянное общение с тобой изменяет меня, причем далеко не в лучшую сторону. Но это не мешало ей держаться с тобой чрезвычайно любезно и с неизменным радушием принимать тебя у нас дома.

Такому человеку, как она, трудно было представить, что я способен относиться к своим друзьям холодно или враждебно. Она считала, она даже была уверена, что это совершенно чуждо моей натуре. Я внял ее настойчивым просьбам и ответил тебе.

Текст отправленной мной телеграммы помнится мне до сих пор. «Время, – говорилось в ней, – врачует любые раны, но еще многие и многие месяцы я не стану ни писать тебе, ни встречаться с тобой». Получив мой ответ, ты ринулся в Париж, посылая мне по пути безумные телеграммы, в которых умолял меня встретиться с тобой – хотя бы один раз. Но я не хотел тебя видеть.

Ты приехал в Париж в субботу поздно вечером и нашел в своей гостинице оставленную мной записку, в которой я ясно давал понять, что не намерен встречаться с тобой.

На следующее утро, уже в Лондоне, у себя на Тайт-стрит, я получил от тебя телеграмму объемом в десять или даже одиннадцать страниц. В ней ты с пылкостью заявлял, что, какими бы ни были причиненные мне тобой огорчения, ты все равно не можешь поверить, что я ни за что не соглашусь с тобой повидаться, – ведь ради короткой встречи со мной, хотя бы на один час, ты ехал через всю Европу, нигде не останавливаясь, целых шесть дней и ночей.

Ты умолял меня проявить к тебе снисхождение, причем, надо признать, в очень трогательных выражениях, а заканчивал телеграмму достаточно недвусмысленной угрозой покончить с собой.

Ты не раз рассказывал мне, сколь многие в твоем роду обагрили руки своей собственной кровью – например, твой дядя и, возможно, твой дед, да и немало других в том безумном, злосчастном племени, от которого ты производишь. Я видел, что на сей раз не смогу игнорировать твоей телеграммы.

Мое согласие увидеться с тобой – но один-единственный и последний раз – объясняется целым рядом причин. Здесь и жалость, и давняя к тебе привязанность, и беспокойство о твоей



матери, для которой смерть сына, да еще при таких трагических обстоятельствах, была бы страшным, а возможно, и смертельным ударом, и нахлынувший на меня ужас при мысли, что таким ужасным образом может оборваться столь юная жизнь, которая, несмотря на все твои прошлые прегрешения, еще могла бы со временем стать возвышенной и прекрасной, и просто гуманность.

Когда я приехал в Париж и мы с тобой встретились, ты не мог удержаться от слез, да и потом, на протяжении всего вечера, во время обеда у «Вуазена» и позднее, за ужином у «Пайяра»,<sup>34</sup> по твоим щекам, подобно каплям дождя, то и дело скатывались слезы – столь непритворна и велика была твоя радость.

При каждой удобной возможности ты, словно ласковый, провинившийся в чем-то ребенок, брал меня за руку; твоё раскаяние было настолько простодушным и искренним, что я не выдержал и согласился возобновить нашу прежнюю дружбу. Через два дня после нашего возвращения в Лондон твой отец увидел нас вместе, когда мы завтракали в «Кафе-Ройял», подсел к нашему столику, выпил заказанного мной вина и в тот же день, в письме, обращенном к тебе, впервые обрушился на меня с гнусными инсинуациями.

Странно, но вскоре после этого у меня снова возникла – нет, не возможность, а скорее необходимость порвать с тобой. Вряд ли стоит напоминать тебе, о чем я в данном случае говорю.

Ну конечно же, о тех трех днях в Брайтоне, с 10 по 13 октября 1894 года, когда ты так некрасиво обошелся со мной. Наверное, случившееся три года назад кажется тебе слишком давним прошлым. Но для нас, обитателей тюрьмы, в чьей жизни нет ничего, кроме скорби, время измеряется одними лишь пароксизмами душевной боли и горькими воспоминаниями о прошлых страданиях. Больше нам думать не о чем.

Может быть, то, что я сейчас скажу, и покажется тебе странным, но страдания для нас – единственно возможный способ существования, потому что только страдая мы сознаем, что все еще живы, а что касается воспоминаний о наших прошлых страданиях, то эти воспоминания – единственная ниточка, связывающая нас прежних с нами нынешними, единственное свидетельство, что мы – это мы, а не какие-то иные, «подмененные» существа. Вспоминать же о чем-то хорошем и радостном я не могу по той простой причине, что ничего хорошего, ничего радостного в нашей дружбе с тобой считай что и не было.

Но даже в том случае, если бы наша жизнь в течение всего этого времени и была такой, какой она представляется публике, то есть проходила бы в сплошных удовольствиях, мотовстве и веселье, то вспоминать мне тем более было бы не о чем.

На самом же деле минуты и дни, составлявшие этот период, были настолько трагическими, безысходными, сулящими нечто зловещее в будущем и настолько наполненными монотонно повторяющимися тягостными сценами и унижительными скандалами, что каждая такая сцена, каждый такой скандал предстают в моей памяти в мельчайших подробностях, заставляя забывать обо всем остальном. Пребывание в тюремных стенах доставляет мне такую душевную боль, что наша дружба с тобой представляется своего рода к нему прелюдией, созвучной различного рода вариациям нравственных мук, терзающих меня здесь ежедневно, – я бы даже сказал, являющейся их первопричиной, как если бы вся моя жизнь, какой бы она ни казалась мне и другим, была все это время ничем иным, как Симфонией Страдания, последовательно движущейся в своем ритмическом развитии (причем с той неизбежностью, которая присуща трактовке основной темы во всех великих произведениях искусства) к некоему трагическому разрешению.

Итак, вернемся на три года назад к тем трем дням в Брайтоне, когда ты так некрасиво обошелся со мной. Незадолго перед этим я уединился в Уортинге, чтобы поработать там над концовкой своей очередной пьесы, и, хотя ты приезжал туда ко мне пару раз, некоторое время я мог тебя не ожидать. И вдруг ты заявляешься ко мне в третий раз, да еще в компании какого-то своего приятеля, которому ты чуть ли не пообещал, что он остановится у меня в доме. Я наотрез отказался принимать его – и, как ты теперь должен признать, поступил совершенно правильно.

Конечно, я делал все, чтобы вы с ним не скучали, кормил и развлекал вас (у меня не было

<sup>34</sup> «Вуазен», «Пайяр» – названия небольших парижских ресторанов: по имени владельцев.

инного выбора), но все это происходило за пределами моего дома. На следующий день, в понедельник, твой приятель занялся своими делами, а ты остался со мной.

Уортинг вскоре тебе надоел, хотя еще больше надоели, я уверен, мои тщетные старания сосредоточиться на пьесе (а кроме нее меня больше ничего и не интересовало), и ты стал упрашивать меня съездить с тобой в Брайтон, причем настаивал на том, чтобы мы остановились в «Гранд-отеле». Но в тот вечер, когда мы туда приехали, ты вдруг почувствовал себя плохо и слег в постель. У тебя был очередной приступ – не то второй, не то третий – той ужасной болезни, ползучей лихорадки, которую почему-то принято называть инфлюэнцей.

Не буду напоминать тебе, как заботливо я за тобой ухаживал. Я не только баловал тебя цветами, фруктами, подарками, книгами – словом, всем тем, что можно купить за деньги, но и окружил тебя вниманием, нежностью и любовью – а это ни за какие деньги не купишь (хотя, конечно, ты можешь думать иначе).

Если не считать утренних и послеобеденных прогулок (утром – пешком, после обеда – в экипаже), продолжавшихся не больше часа, я целыми днями не выходил из отеля.

Поскольку тебе не нравился виноград, который подавали в отеле, я специально выписывал для тебя лучшие сорта из Лондона. Я то и дело радовал тебя разными маленькими сюрпризами, проводил все свое время с тобой, лишь иногда уединяясь в соседней комнате, а по вечерам сидел у твоей постели, успокаивая и развлекая тебя.

Через четыре или пять дней ты выздоровел, и я решил снять квартиру, чтобы в спокойной обстановке закончить пьесу. Разумеется, ты поселился со мной.

На следующее утро после того, как мы там устроились, я внезапно почувствовал себя ужасно плохо. Тебе надо было ехать в Лондон по делу, но ты обещал вернуться во второй половине того же дня. Однако в Лондоне ты встречаешь приятеля и возвращаешься в Брайтон только поздно вечером следующего дня, к каковому времени я уже лежу пластом, у меня высокая температура и доктор ставит диагноз: инфлюэнца, которой я, несомненно, заразился от тебя.

Слегши, я убедился, что квартира, которую я снял, приспособлена скорее для здоровых, чем для больных людей: гостиная располагалась на втором этаже, тогда как спальня – на четвертом. Кроме того, в доме не было ни одного слуги, который мог бы присматривать за больным; некого было даже послать с каким-нибудь поручением или за лекарством, прописанным врачом. Но я считал, что поскольку ты рядом, то мне не о чем беспокоиться.

А между тем следующие два дня ты практически оставил меня одного – без присмотра, без ухода, без всего. Я уже не говорю о фруктах, цветах или каких-то там милых подарках – я говорю о самом необходимом. Ты не приносил мне даже молока, которое я должен был пить по предписанию врача. Если мне хотелось лимонаду, ты заявлял, что достать его невозможно.

Когда я попросил тебя купить мне что-нибудь почитать, назвав несколько авторов и книг, которые интересовали меня в первую очередь, а если не окажется ни одной из них, то выбрать что-нибудь на свой вкус, ты даже не потрудился зайти в книжную лавку. Но мне ты не моргнув глазом сказал, что одну из названных книг ты купил и что книготорговец обещал ее прислать на мой адрес. Разумеется, ее не прислали, и в результате я был лишен возможности читать весь тот ужасный день. Потом я совершенно случайно узнал, что все, тобой сказанное, было ложью – от начала и до конца.

Все эти дни ты, конечно, полностью жил на мой счет, с утра до ночи разъезжая по городу и обедая в «Гранд-отеле». В моей комнате ты появлялся только тогда, когда тебе нужны были деньги.

В субботу вечером, проведя весь день в одиночестве, без внимания и помощи с твоей стороны, я попросил тебя не задерживаться после обеда и немного посидеть со мной. Ты сказал, что вернешься вовремя, но отвечал мне крайне раздраженным и нелюбезным тоном. Я прождал до одиннадцати вечера, но ты так и не появился. Тогда я оставил у тебя в спальне записку, напоминая тебе о твоём обещании и о том, как ты на самом деле его сдержал.

В три часа ночи, не в состоянии уснуть и умирая от жажды, я спустился по темной, холодной лестнице в гостиную в надежде найти там что-нибудь выпить – и нашел там тебя. Ты тут же набросился на меня, изрыгая самые жуткие проклятия, какие только могли прийти в голову та-

кому несдержанному, необузданному, невоспитанному человеку, как ты.

Непостижимая алхимия крайнего эгоцентризма обратила угрызения совести, которые, как мне казалось, ты должен был бы испытывать, в бешеную ярость. Ты называл меня эгоистом за то, что, заболев, я рассчитывал найти в твоём лице няньку и считал тебя обязанным круглосуточно не отходить от моей постели; ты осыпал меня упреками за то, что я не даю тебе весело проводить время и получать удовольствие от жизни. Ты сказал мне – и я не удивился, услышав это, – что вернулся около полуночи только затем, чтобы переодеться и пойти туда, где, как ты надеялся, тебя ждут новые удовольствия, но моя записка с жалобами на то, что ты оставил меня одного на целый день и весь вечер, испортила тебе настроение, и у тебя пропала всякая охота продолжать развлекаться.

Когда я поднимался к себе наверх, на душе у меня было ужасно скверно. Я так и не уснул до рассвета, метался в жару, а мучившую меня жажду смог утолить не раньше чем поздним утром.

В одиннадцать утра ты зашел ко мне в комнату. Устроенная тобой ночью сцена свидетельствовала о том – и это было единственным утешением, – что моя записка, по крайней мере, удержала тебя от новых попок.

Утром, казалось, ты снова был таким, как обычно. Разумеется, мне было интересно, как ты намерен объяснять свое поведение и каким образом станешь просить у меня прощения, – а оно, как ты прекрасно знал, будет непременно тобой получено, несмотря на твоё ужасное поведение. Эта твоя абсолютная уверенность в том, что, как бы ты себя ни вел, тебе гарантировано прощение, всегда поражала меня в тебе, а может быть, даже чем-то и восхищала.

Но ты и не думал извиняться – напротив, ты повторил свою дикую ночную выходку, сделав ее еще более истеричной и грубой. В конце концов я велел тебе убираться из моей комнаты. Ты сделал вид, что уходишь, но, когда я поднял голову с подушки, в которую зарылся, чтобы не слышать и не видеть тебя, ты все еще стоял у порога.

И вдруг, жутко расхохотавшись, ты в припадке истерического бешенства ринулся к моей кровати. Меня охватил безотчетный ужас, и я, поспешно вскочив с постели, бросился бежать – босиком, в том, что на мне было, – вниз по двум маршам лестницы в гостиную. Я сидел там, пока оказавшийся дома хозяин квартиры, которого я вызвал звонком, не уверил меня, что тебя уже нет в моей спальне и что в случае необходимости он сразу же явится на мой зов.

Спустя час (а за это время у меня побывал врач и, естественно, нашел меня в состоянии глубокого нервного шока, от чего мое самочувствие стало даже хуже, чем в начале заболевания) ты вернулся, зашел ко мне в комнату, молча взял все деньги, какие лежали в ящике туалетного столика и на каминной полке, после чего зашел за своими вещами и покинул дом.

Стоит ли рассказывать, какого рода эпитетами я награждал тебя, прикованный к постели еще целых два дня, совершенно беспомощный и всеми забытый? Нужно ли говорить, насколько ясно я осознал, что поддерживать даже простое знакомство с таким человеком, как ты, было бы для меня настоящим позором? В наших с тобой отношениях наступил переломный момент, и я почувствовал величайшее облегчение. Я не сомневался, что и мое творчество, и моя жизнь станут теперь свободнее, лучше и прекраснее с любой точки зрения. И, несмотря на болезнь, на сердце у меня стало спокойнее.

От одного лишь сознания, что теперь наш разрыв неизбежен, в душе моей воцарился мир. Ко вторнику мне стало намного лучше, температура спала, и я впервые за все эти дни спустился обедать вниз.

В среду был день моего рождения. Среди телеграмм и прочих посланий по этому поводу я нашел на своем столе и письмо с твоим почерком на конверте. Распечатывал я его с грустью.

Я понимал, что безвозвратно ушло то время, когда задушевный тон, уверения в искренней привязанности ко мне, сожаление о случившемся могли бы заставить меня возвратить тебя. Но я глубоко ошибался, я тебя недооценивал, ибо ты сумел-таки поразить меня, причем совершенно с неожиданной стороны.

Твое «поздравительное» письмо оказалось почти дословным повторением тех двух сцен, которые ты устроил мне поздно ночью, а затем продолжил наутро и которые так потрясли меня.

Разница была только в том, что на сей раз ты изложил все свои оскорбления на бумаге – как говорится, черным по белому.

Ты подвергал меня злобному глумлению и пошлым насмешкам. Во всей этой истории, по твоим словам, был лишь один момент, который доставил тебе истинное удовольствие: переехав от меня в «Гранд-отель», ты перед отъездом в Лондон записал на мой счет стоимость своего проживания в номере и последнего ленча.

Ты поздравил меня с тем, что я проявил такое проворство, когда соскочил с кровати и вихрем бросился вниз. «Иначе это могло бы плохо кончиться для тебя, – писал ты, – даже хуже, чем ты можешь себе представить». Уверяю тебя, я и сам чувствовал это, хотя и не знал, в чем именно состоит исходящая от тебя угроза. Должно быть, у тебя с собой был пистолет – тот самый, который ты купил, чтобы поугаить своего отца, и из которого, думая, что он не заряжен, ты однажды выстрелил в ресторане, когда мы с тобой там обедали.

А может быть, я краем глаза увидел, как твоя рука тянется к столовому ножу, который неизвестно каким образом оказался на столике между нами. Возможно также, что, забыв в припадке ярости, насколько я крупнее и сильнее тебя, ты собирался напасть на меня или даже избить меня, пользуясь тем, что я болен. Трудно сказать, чем это могло кончиться, и я до сих пор не знаю, что было у тебя на уме. Знаю только, что мною овладел беспредельный, неизъяснимый ужас, и я почувствовал, что, если я сейчас же не спасусь бегством, выскочив из комнаты, ты сделаешь (или попытаешься сделать) нечто такое, о чем и сам будешь сожалеть до конца своих дней.

Только раз перед этим я испытывал подобного рода ужас. Я имею в виду тот случай, когда в мою библиотеку на Тайт-стрит, не помня себя от бешенства, ворвался твой папочка вместе с каким-то головорезом, очевидно своим дружком, и, размахивая коротенькими руками, брызжа слюной, стал изрыгать на меня все грязные ругательства, какие только мог выискать в своей грязной памяти, перемежая их гнусными угрозами, которые он впоследствии столь коварно привел в исполнение.

Только в тот раз убираться из комнаты пришлось ему, а не мне: я его попросту выставил за дверь. Ну а в этом случае бежал из комнаты я. В сущности, я спасал тебя от самого же тебя, и, нужно заметить, далеко не впервые.

Заканчивал ты письмо следующими словами: «Когда ты спускаешься со своего пьедестала, ты становишься совершенно неинтересен. В следующий раз, если вздумаешь заболеть, я уеду немедленно».

Бог ты мой, о какой же грубой натуре свидетельствуют эти слова! О каком узком мышлении и каком жалком воображении! О каком бессердечии и цинизме! «Когда ты спускаешься со своего пьедестала, ты становишься совершенно неинтересен. В следующий раз, если вздумаешь заболеть, я уеду немедленно». О, как часто вспоминались мне эти слова в унылых стенах одиночек различных тюрем, куда меня то и дело переводили! Я повторял их снова и снова, и мне все больше казалось (надеюсь, безосновательно), что в них-то и таится объяснение твоего загадочного молчания. Ума не приложу, как ты мог написать мне такое, зная, что заболел я, заразившись именно от тебя, – причем тогда, когда столь преданно ухаживал за тобой!

Какая жестокость и несправедливость с твоей стороны! Разве может нормальный человек обратить к кому-либо такие слова, не совершая греха, которому нет прощения?! Впрочем, как всем нам хорошо известно, нет на свете грехов, которым не нашлось бы прощения.

Должен откровенно признаться, что, прочитав твое письмо, я почувствовал себя как бы замаранным. У меня возникло ощущение гадливости, словно общение с таким, как ты, запятнало и опозорило меня на всю жизнь. Ощущение это в конце концов не обмануло меня, но до какой степени оно оказалось верным, я узнал лишь полгода спустя. А тогда я решил вернуться в Лондон – в пятницу на той же неделе, – чтобы повидаться с сэром Джорджем Льюисом<sup>35</sup> и попросить его написать твоему отцу о том, что я решил никогда и ни при каких обстоятельствах не позволять тебе переступать порог своего дома, садиться обедать со мной за один стол, разгова-

<sup>35</sup> Джордж Льюис (1833–1911) – друг и адвокат Оскара Уайльда.



ривать со мной, сопровождать меня в прогулках, да и вообще появляться в моем обществе где бы то ни было и когда бы то ни было.

После этого я собирался написать тебе – и то лишь затем, чтобы уведомить тебя о принятом мной решении. Никаких причин при этом я не хотел называть: о них ты бы и сам догадался. Окончательный план действий созрел у меня в четверг к вечеру, и вдруг в пятницу утром случилось непредвиденное.

Сев перед самым отъездом завтракать, я развернул свежую газету и увидел в ней телеграмму, в которой сообщалось, что твой старший брат<sup>36</sup> – наследник титула и, в сущности, глава и опора вашей семьи – был найден мертвым в канаве; рядом с ним лежало его ружье, из которого и был произведен выстрел.

Обстоятельства этой страшной трагедии ужаснули меня. Впоследствии было установлено, что твой брат погиб в результате несчастного случая, но в то время его смерть вызвала самые мрачные предположения.

Внезапный уход из жизни совсем еще молодого человека, пользовавшегося любовью всех, кто его знал, казался тем более трагичным, что он должен был вскоре жениться. Нетрудно было представить, каким ударом для твоей матери явилась утрата сына, который всегда был ее утешением и радостью в жизни: она сама мне однажды рассказывала, что ни разу, с самого своего рождения, он не заставил ее пролить ни единой слезинки.

Я остро сочувствовал и тебе, понимая, насколько тяжело ты переживаешь смерть брата и каким, должно быть, одиноким себя чувствуешь, так как обоих других твоих братьев в это время в Европе не было. Поэтому твоей матери и твоей сестре было не на кого, кроме тебя, опереться не только в постигшем их горе, но и в свалившихся на них скорбных обязанностях и многочисленных, страшных в своей обыденности заботах, которые всегда приносит с собою Смерть.

Гибель твоего брата заставила меня как-то по-новому обостренно почувствовать, что мир наш сотворен из *lacrimae rerum*, из одних только слез, и напомнила мне ту горькую истину, что жизни человека сопутствуют одни лишь печали. Скорбный поток обуревавших меня в тот час мыслей и чувств пробудил во мне бесконечную жалость к тебе и твоей семье. Мои собственные обиды, накопившаяся во мне горечь – все это было забыто.

Разве мог я в годину постигшего тебя горя поступить с тобой так же, как ты поступил со мной во время моей болезни?! Я тотчас же отправил тебе телеграмму с выражением глубочайшего соболезнования, а в письме, посланном вслед за нею, пригласил тебя приехать ко мне, как только у тебя появится такая возможность. Я понимал, что бросить тебя в такую минуту – да еще прибегнув для этого к услугам своего адвоката – было бы слишком жестоко с моей стороны.

Возвратившись в Лондон с места трагедии, куда тебя вызывали в связи с расследованием обстоятельств гибели брата, ты тут же поспешил ко мне, в траурном одеянии, с покрасневшими от слез глазами, беззащитный и трогательный. Ты, словно малое дитя, нуждался в помощи и утешении, и я снова открыл перед тобой и дом свой, и сердце.

Я с готовностью разделил с тобой твою скорбь, чтобы тебе легче было с ней совладать, и ни разу, ни единым словом не напомнил тебе о том, как ты обошелся со мной, о безобразных сценах, которые ты устраивал, о твоем ужасном письме. Постигшее тебя страшное горе, казалось, сблизило нас даже больше, чем когда-либо в прошлом. Принятые тобой от меня цветы, возложенные на могилу твоего брата, послужили символом не только его прекрасной жизни, но и той красоты, что таится в каждом из нас, хотя так редко является миру.

Но боги непостижимы и поступки их странны.<sup>37</sup> Они карают нас не только за наши пороки и преступления, но и за то, что есть в нас хорошего, доброго, человеческого и любящего. Не прояви я тогда к тебе и твоим родным жалости и сострадания, я бы не проливал сейчас слез в этом

<sup>36</sup> Имеется в виду виконт Фрэнсис Драмланриг, старший сын маркиза Куинзбери, покончивший с собой в октябре 1894 г.

<sup>37</sup> Уайльд перефразирует слова Эдгара, персонажа шекспировской трагедии «Король Лир», которые тот произносит в сцене с Эдмундом и герцогом Альбанским: «Но боги правы, нас за преступления казня плодами нашего греха» (перевод Б. Пастернака).



ужасном месте.

В наших с тобой отношениях я вижу не столько предназначения Судьбы, сколько вмешательство злого Рока, чья поступь всегда стремительна и нетерпелива, ибо он неустанно спешит туда, где будет пролита кровь.

По отцу ты принадлежишь к фамилии, породниться с которой опасно, а сдружиться губительно. На представителях твоего рода лежит извечное проклятие: фатальная, непреодолимая предрасположенность покушаться на собственную жизнь либо на жизнь других.

Каждый раз, когда пересекались наши жизненные пути, то ли при серьезных обстоятельствах, то ли в мелочах; каждый раз, когда ты приходил ко мне, то ли за помощью, то ли с приглашением принять участие в твоих развлечениях; каждый раз, когда что-то случалось, пусть даже это был самый незначительный эпизод, по сравнению со всей жизнью казавшийся пылинкой, пляшущей в солнечном луче, или крошечным листком, трепещущим на ветке дерева под порывами ветра, – словом, каждый раз, когда нас сталкивала судьба, вслед за тобой бесшумно ступала Гибель, словно беззвучное эхо сдавленного вопля отчаяния или крадущаяся тень хищного зверя.

Да и началась-то наша дружба, собственно, с того, что ты прислал мне трогательно и изысканно написанное письмо, в котором умолял меня помочь тебе выпутаться из крайне неприятной истории, обстоятельства которой не делали бы чести любому более или менее порядочному человеку и уж тем более юному студенту Оксфордского университета.

Я помог тебе и в результате стал терять доброе отношение и уважение сэра Джорджа Льюиса, в разговоре с которым ты как-то называл меня своим ближайшим другом, – а ведь мы с ним дружили целых пятнадцать лет. Лишившись его расположения, советов и помощи, я утратил единственную абсолютно надежную опору в своей жизни.

Вскоре после нашего знакомства ты прислал мне на суд очень милые стихи – типичный образчик юношеской студенческой поэзии. Я ответил письмом, полным крайне лестных для тебя и в этом смысле гиперболических, я бы даже сказал, фантастических литературных параллелей. Я сравнивал тебя и с Гиласом,<sup>38</sup> и с Гиацинтом, и с Нарциссом, и с другими прекрасными юношами из мифологии, к кому благоволил и кого почитил своей любовью великий Бог Поэзии.

Письмо мое было написано в духе сонетов Шекспира, только в более минорном ключе, и понять его мог только тот, кто читал «Пир» Платона или кто в состоянии проникнуться тем духом строгой торжественности, который был запечатлен для нас древними греками в их прекрасных мраморных скульптурах.

Скажу тебе откровенно, что такого рода письмо, написанное в ту счастливую минуту, когда моя капризная Муза была благосклонна к первым опусам начинающих поэтов, я направил бы и любому другому юноше, обладающему достаточно утонченным вкусом (будь он из Оксфорда или из Кембриджа), если бы он прислал мне стихи своего собственного сочинения. При этом я нисколько бы не сомневался – как, собственно, и было в твоём случае, – что юноша этот достаточно умен и просвещен, чтобы правильно истолковать мои гиперболические обороты и фантастические образы.

Но давай-ка посмотрим на судьбу этого злосчастного письма! От тебя оно переходит в руки какого-то не слишком порядочного субъекта из твоих дружков, а от того – к шайке вымогателей и шантажистов.

Письмо в копиях рассылается моим друзьям по всему Лондону (одна из копий попадает и к директору театра, где шла моя пьеса), и всеми без исключения истолковывается в каком угодно смысле, кроме того, что я в него вкладывал. Общество начинают будоражить нелепые слухи, будто я вынужден был заплатить огромную сумму денег с тем, чтобы не предавалось огласке столь непристойное письмо, написанное моей рукой.

На этом основании твой отец делает в высшей степени возмутительный выпад против меня. Чтобы положить конец кривотолкам, я предъявляю на суде оригинал письма, но адвокат твоего отца объявляет его отвратительной и ужасно коварной попыткой растлить Невинность, и в

<sup>38</sup> Гилас – прекрасный юноша, любимец и оруженосец Геракла.

конце концов оно становится частью выдвинутого против меня уголовного обвинения. Судья в своей заключительной речи подытоживает результаты судебного разбирательства, основывая свои выводы все на том же письме, и проявляет при этом минимум эрудиции, зато максимум высочайших нравственных принципов. В результате меня сажают в тюрьму. Вот плата за то, что я написал тебе столь изысканное, исполненное вдохновения письмо.

Когда мы ездили с тобой в Солсбери,<sup>39</sup> тебя все время не покидало состояние ужасной обеспокоенности из-за угрожающего письма, полученного тобой от одного из твоих старых приятелей, и ты упрашивал меня встретиться с ним, чтобы помочь тебе выпутаться из неприятностей. Я поддался уговорам и помог тебе, но последствия были для меня самыми плачевными. Мне пришлось взвалить всю твою вину на свои плечи и за все отвечать. Это тебе еще один пример того, что за тобой по пятам неотступно следует Гибель.

Когда ты провалил экзамены на степень бакалавра и тебе предстояло покинуть Оксфорд, ты телеграфировал мне в Лондон и умолял приехать к тебе. Я тут же приехал, и ты попросил меня съездить с тобой в Горинг, поскольку тебе в данных обстоятельствах не хотелось появляться дома. В Горинге тебе приглянулся один дом, и я снял его для тебя. В результате оказалось, что это был еще один шаг к Гибели.

Однажды ты обратился ко мне с просьбой написать что-нибудь для какого-то оксфордского студенческого журнала:<sup>40</sup> его собирался издавать один из твоих друзей, о котором я никогда не слышал и ровно ничего не знал. Ради тебя – а на что я только не был готов ради тебя? – я послал ему страничку афоризмов и парадоксов, первоначально предназначавшихся для «Сатердей ревю».

А через несколько месяцев, ввиду предосудительного направления журнала (на этом отчасти было построено уголовное обвинение против меня), я оказался на скамье подсудимых в Олд-Бейли,<sup>41</sup> и мне необходимо было привести какие-то доводы в защиту писаний твоего приятеля и твоих собственных стихов. В отношении прозаических творений твоего друга мне нечего было сказать, а вот твои стихи я, из беспредельной преданности тебе, защищал со всем красноречием и убедительностью, на которые был способен.

Делал я это и ради твоей юной жизни, и ради твоих первых литературных опытов. Я решительно отвергал обвинения в том, что твои стихи непристойны, и все же оказался в тюрьме – по обвинению в сотрудничестве со студенческим журналом твоего приятеля, пострадав таким образом за «Любовь, что не смеет назвать свое имя».<sup>42</sup>

На Рождество я послал тебе «прелестный подарок», как ты сам назвал эту вещь в своем благодарственном письме: я знал, насколько она тебе приглянулась, а стоила она где-то сорок, от силы пятьдесят фунтов. Но когда в моей жизни произошла катастрофа и я оказался разорен, судебный исполнитель наложил арест на мою библиотеку и продал ее с молотка специально для того, чтобы оплатить этот «прелестный подарок». Именно ради этого ему был выдан исполнительный лист на опись моего имущества.

А вспомни ту ужасную, фатальную для меня минуту, когда, устав от постоянных подзадориваний и насмешек по поводу моей нерешительности, я поддался на твои уговоры и согласился возбудить судебное дело против твоего отца, а также добиваться его ареста. Последней соломинкой, за которую я пытался тогда ухватиться, чтобы уклониться от этого, была ссылка на то, что подобного рода действия потребуют огромных затрат.

<sup>39</sup> Солсбери – один из древнейших городов Англии, расположенный в графстве Уилтшир; шпиль его великолепного собора – самый высокий в Англии (123 м).

<sup>40</sup> Речь идет о журнале «Хамелеон», единственный номер которого вышел в декабре 1894 года; упомянутые Уайльдом далее афоризмы и парадоксы известны в русском переводе под названием «Заветы молодому поколению».

<sup>41</sup> Олд-Бейли – Центральный уголовный суд в Лондоне (по названию улицы, где он находится).

<sup>42</sup> Строка из стихотворения Альфреда Дугласа «Две любви», напечатанного в журнале «Хамелеон».

В твоём присутствии я заявил поверенному, что у меня нет абсолютно никаких средств, что я не в состоянии позволить себе таких чудовищных расходов и что взять нужные для этого деньги мне совершенно неоткуда.

Ты и сам прекрасно знаешь, что говорил я чистую правду. А ведь вместо того чтобы сидеть в ту роковую пятницу в конторе поверенного Хамфриза<sup>43</sup> и покорно соглашаться на совершение величайшей глупости, которая сулила мне гибель, я мог бы в это время находиться во Франции, подальше от тебя с твоими назойливыми письмами и от твоего драгоценного папочки с его гнусными визитными карточками, которые он оставлял в моем клубе.

Вдали от вас я мог бы чувствовать себя счастливым и свободным как птица, но в том-то и вся беда, что я был прикован к отелю «Эйвондейл»: меня наотрез отказывались выпускать оттуда.

Все эти десять дней в отеле ты прожил в одном со мной номере; мало того, ты (к моему величайшему и, согласишься, справедливому возмущению) не постеснялся поселить у меня еще и своего приятеля, так что мой счет за десять дней составил почти сто сорок фунтов.

Хозяин сказал, что не разрешит мне забирать мои вещи до тех пор, пока я полностью не рассчитаюсь за весь срок проживания в его отеле. Таким образом я и задержался в Лондоне. Если бы не этот злополучный гостиничный счет, я бы уехал в Париж в четверг утром.

Когда я сказал поверенному, что денег для оплаты гигантских судебных издержек у меня нет и не будет, в разговор вступил ты, заявив, что твоя семья будет счастлива взять все необходимые расходы на себя. Ты стал уверять нас с поверенным, что твой отец – злой гений семьи, что вы давно уже обсуждаете возможность поместить его в психиатрическую больницу и тем самым избавиться от него, что он источник каждодневных огорчений и неприятностей для твоей матери и всех остальных в доме, что если я помогу упрятать его в тюрьму, то вся семья будет относиться ко мне как к своему защитнику и благодетелю, а богатая родня твоей матери с радостью возместит все связанные с этим издержки.

Поверенному твои доводы показались настолько вескими, что он тут же прекратил наше маленькое совещание и вы оба буквально поволокли меня в полицейский суд. Мне уже некуда было деваться. Меня попросту вынудили согласиться.

Разумеется, никаких судебных издержек твоя семья оплачивать не стала, и меня, по требованию твоего отца (какая ирония), объявляют несостоятельным должником – и всего-то из-за суммы в каких-то семьсот фунтов!

В настоящий момент моя жена, отвернувшись от меня из-за разногласий в столь важном вопросе, какую сумму я должен иметь в качестве моего недельного содержания – три фунта ровно или три фунта и десять шиллингов, – готовится начать бракоразводный процесс, для чего, конечно, понадобится совершенно новый набор улик и новое судебное разбирательство. Мне, естественно, никакие подробности на этот счет неизвестны. Я знаю лишь имя свидетеля, на чьи показания опираются адвокаты моей супруги. Это никто иной, как твой оксфордский слуга – тот самый, которого я, по твоей настоятельной просьбе, взял к себе в услужение тем памятным летом, которое мы провели с тобой в Горинге.

Что ж, примеров того, как после знакомства с тобой меня каким-то непостижимым образом стал преследовать злой Рок – и в мелочах, и в более важных делах, – я, пожалуй, привел достаточно.

Иногда у меня возникало ощущение, что ты – марионетка в чьих-то неведомых и незримых руках, вынуждающих тебя помимо воли навлекать на людей несчастья, причем непременно с самым ужасным исходом. Но марионетки тоже не чужды человеческих страстей, а потому склонны приносить в навязываемые им зловещие сюжеты свои собственные ходы и повороты, продиктованные своими собственными прихотями и склонностями.

Стремиться быть абсолютно свободным и в то же время сознавать свою полную зависимость от закона – в этом извечном парадоксе, определяющем каждую минуту нашей жизни, и

---

<sup>43</sup> Чарлз Хамфриз (1828–1902) – поверенный Уайльда, представлявший его интересы на всех трех судебных процессах.

следует, как мне кажется, искать объяснение твоим поступкам, хотя, с другой стороны, вряд ли возможно объяснить непостижимые движения души человеческой, а если таковое объяснение и существует, оно попросту недоступно нашему пониманию.

Конечно, многое в твоём поведении можно отнести и на счет иллюзий, в плену которых ты постоянно жил и сквозь зыбкий туман и цветную пелену которых ты видел весь мир – то есть, иначе говоря, ты все воспринимал в искаженном свете.

Так, например, ты считал (и я это отлично помню), что, проводя все свои дни со мной и в то же время пренебрегая своей семьей и своими семейными обязанностями, ты тем самым доказываешь, насколько хорошо ко мне относишься и как сильно ко мне привязан.

Не сомневаюсь, что так тебе и на самом деле казалось. И все же позволь напомнить тебе, что дружба со мной позволила тебе жить комфортно и в свое удовольствие – ты отчаянно сорил деньгами (причем не своими), без удержу развлекался и непрерывно предавался разгулу.

Жизнь в лоне семьи казалась тебе смертельно скучной. «Кислое вино родного очага», как ты образно выражался, было тебе «не по вкусу». Зато, став моим другом, ты получил возможность «вкушать самых изысканных вин», да еще под аккомпанемент интеллектуальных бесед. А в тех редких случаях, когда тебе не удавалось меня отыскать и присоединиться ко мне, ты, в качестве паллиатива, выбирал себе общество крайне сомнительных типов, и это не очень-то льстило моему самолюбию.

Опять-таки ты считал, что, отослав через адвоката письмо своему отцу (в нем ты заявлял, что скорее откажешься от выплачиваемых им тебе в качестве содержания двухсот пятидесяти фунтов в год – за вычетом, насколько я знаю, твоих оксфордских долгов, – чем порвешь нерасторжимую дружбу со мной), ты совершил героический поступок и поднялся до вершин самоотверженности и самопожертвования.

Но отказ от такой сравнительно скромной суммы, уходившей у тебя в основном на мелкие карманные расходы, вовсе не означал, что ты готов отказаться хотя бы от одной из своих роскошных привычек или перестанешь сорить деньгами. Напротив, твои аппетиты к шикарной жизни никогда до этого не были столь непомерными.

За восемь дней, проведенных в Париже, я истратил на себя, на тебя и на твоего слугу-итальянца почти сто пятьдесят фунтов. На одни обеды у Пайяра ушло восемьдесят пять фунтов. При таком образе жизни, даже если бы ты обедал один и начал бы экономить на развлечениях, выбирая самые из них дешевые, твоего годового содержания едва бы хватило на две-три недели.

Столь демонстративно отказавшись от отцовской помощи, пусть она и была незначительной, ты решил, что наконец-то получил полное оправдание жить на мой счет.

При каждом удобном случае ты совершенно серьезно говорил об отказе от денег отца как о своего рода подвиге и на этом основании постоянно выкачивал деньги – главным образом, разумеется, у меня, но частично, насколько я знаю, и у своей матери. Это всегда огорчало меня, тем более что тебе никогда не было свойственно чувство меры, – и в то же время ты ни разу, по крайней мере в моем случае, не произнес ни единого слова благодарности.

Забрасывая своего отца грозными письмами, дерзкими телеграммами и оскорбительными открытками, ты считал, будто сражаешься на стороне своей матери, выступаешь в роли ее защитника, мстишь за все те горести и обиды, которые она от него претерпела. Но это было заблуждением с твоей стороны – возможно, самым большим в твоей жизни. Если ты хотел таким образом отплатить отцу за зло, причиненное им твоей матери, полагая, что в этом состоит твой сыновний долг, то выбрал ты, мягко говоря, не самый удачный способ. Лучше бы ты постарался стать для нее действительно хорошим сыном и поступал бы с ней по-сыновнему, а не так, как ты привык поступать, и тогда она не боялась бы заговаривать с тобой о важных делах, не вынуждена была бы постоянно оплачивать твои долги и у нее не болело бы сердце из-за тебя.

А вот твой брат Фрэнсис всегда утешал ее в горе, был с ней ласков и добр всю свою недолгую, рано отцветшую жизнь. Вот с кого тебе следовало брать пример.

Неужели ты и в самом деле считал, что, если бы тебе удалось, используя меня, засадить отца за решетку, ты сделал бы свою мать счастливой? В таком случае ты сильно ошибался, а если хочешь узнать, какие чувства испытывает женщина, когда ее муж и отец ее детей сидит, обла-



ченный в полосатую тюремную одежду, в тюремной камере, то напиши моей жене и спроси у нее. Уж она-то расскажет тебе об этом во всех подробностях.

Должен сказать, что у меня тоже были свои иллюзии. Я ожидал, что жизнь моя будет искрометной комедией, в которой ты сыграешь одну из самых блестящих ролей. Но она обернулась отвратительной и мрачной трагедией, и именно тебе была в ней отведена самая страшная и зловещая роль. С тебя была сорвана личина радости и лучезарности, вводившая в заблуждение и сбивавшая с толку не только меня, но и самого тебя.

Теперь, надеюсь, ты имеешь хоть какое-то представление, как мне сейчас тяжело. В одной из газет, кажется в «Пэлл-Мэлл», я как-то прочитал заметку по поводу генеральной репетиции одной из моих пьес, и в ней про тебя было сказано, что ты следуешь за мной, как тень.

Так вот, здесь, в тюрьме, за мной следует, словно тень, память о нашей дружбе, ни на миг не оставляя меня. Она является ко мне ночью и будит меня, чтобы без конца повторять одну и ту же историю, уныло и монотонно, лишая меня сна до рассвета. А на рассвете она возвращается вновь и следует за мной в тюремный двор, где заставляет меня во время утренней прогулки разговаривать с самим собой.

Я вспоминаю мельчайшие подробности наших ужасных ссор за все эти роковые годы нашей дружбы, и нет ни одной из них, которая хотя бы раз не воскресла в тех закоулках мозга, где гнездятся скорбь и страдание. Каждая натянутая нота в твоём голосе, каждый резкий жест, каждое подергивание твоих нервных рук, каждое раздражённое слово, каждая ядовитая фраза снова и снова всплывают в моей памяти. Я вижу каждую улицу и набережную, вдоль которых мы бродили, каждый дом и дерево, мимо которых мы проходили. Я помню, какое время показывали стрелки часов в каждую из наших ссор, куда в это время неслись на крыльях ветер, какого цвета и формы была луна.

Знаю, есть лишь один ответ на все, что я высказал тебе в этом письме, одно объяснение, и оно очень просто: ты любил меня. Да, все эти два с половиной года, в течение которых Судьба сплетала в единый алый узор нити наших с тобою судеб, ты и вправду любил меня. Я уверен, что это так.

Как бы ты ни поступал со мной, я всегда чувствовал, что в глубине твоей души живет любовь. Да, я прекрасно понимал, насколько притягательны для тебя и мое положение в мире искусства, и тот интерес, который я всегда вызывал у людей, и мои деньги, и та роскошь, в которой я жил, и тысячи разных мелочей, делавших мою жизнь столь увлекательной и необыкновенной, но в то же время я знал, что тебя влекло ко мне нечто гораздо более непреодолимое, чем все это, и что ты любил меня намного больше, чем кого-либо другого в своей жизни.

Но в твоей судьбе, так же, как и в моей, произошла трагедия, хотя и прямо противоположного свойства. Хочешь знать, в чем она заключалась? Что ж, я тебе скажу. Случилось так, что в один прекрасный, а точнее, ужасный момент Ненависть возобладавала в тебе над Любовью. Ненависть к отцу была в тебе столь велика, что она намного превысила, пересилила, затмила твою любовь ко мне. Между этими двумя чувствами не было, или почти не было, никакой борьбы – до таких пределов дошла твоя ненависть, так чудовищно она разрослась. Ты не понимал, что обоим этим страстям не уместиться в одной душе, не ужиться в ее покое.

Любовь питается воображением и поэтому делает нас мудрее, чем мы сами подозреваем, лучше, чем нам самим кажется, благороднее, чем мы есть на самом деле. Она помогает нам постигнуть жизнь во всей ее полноте; она, и только она позволяет нам понять других людей и их отношения как в житейской, так и в духовной сферах. Только то, что прекрасно, может питать Любовь, тогда как питать Ненависть может все, что угодно. Не было ни одного бокала шампанского, выпитого тобой, ни одного роскошного блюда, съеденного тобой за все эти годы, которые не питали бы твою Ненависть, не делали бы ее все более тучной и сытой.

И, стараясь угодить ей, ты играл моей жизнью так же, как играл на мои деньги, – беспечно, безоглядно, не заботясь о последствиях. Проигрывая, ты знал, что проигрываешь не свое; выигрывая, был уверен, что тебе достанется весь триумф, все плоды от твоей победы.

Ненависть ослепляет человека. Ты этого никогда не понимал. Любовь может прочитать слова, написанные и на самой далекой звезде, но ты был так ослеплен Ненавистью, что ничего не



мог увидеть даже совсем рядом, сразу же за пределами своего тесного, обнесенного высокими стенами сада, давно иссушенного плававшими в тебе низменными страстями. Ужасающее отсутствие воображения, этот поистине роковой порок твоего характера, – вот к чему привела поселившаяся в твоей душе Ненависть.

Неслышно, незаметно, коварно Ненависть растлевала твою душу, как лишайник подтачивает корни ослабевшего, больного растения, и в тебе уже ничего не оставалось, кроме самых поверхностных интересов, самых ничтожных устремлений. Ненависть отравляла и парализовала все то, что Любовь могла бы возродить в тебе.

Впервые твой отец атаковал меня в письме, написанном тебе лично. В нем он ясно давал тебе понять, что я его не устраиваю в качестве твоего ближайшего друга.

Прочтя это письмо, полное непристойных угроз и грубой брани, я сразу же понял, что на горизонте моей и без того беспокойной жизни собираются грозовые тучи. Я тут же заявил тебе, что не желаю быть орудием в руках враждующих между собой отца и сына, что здесь, в Лондоне, я представляю для твоего отца намного более привлекательную мишень, чем наш министр иностранных дел в Хомбурге,<sup>44</sup> что с твоей стороны было бы непорядочно ставить меня, пусть даже на короткое время, в подобное положение и что, наконец, в жизни у меня есть поважнее дела, чем участие в ссорах между тобой и твоим вечно пьяным, дйclassй<sup>45</sup> и полоумным родителем.

Но ты не в состоянии был взглянуть на все это моими глазами: тебя ослепляла Ненависть. Ты убеждал меня, что ваши с отцом ссоры никакого касательства ко мне не имеют, что ты не позволишь ему указывать, с кем тебе дружить, а с кем не дружить, и что лучше мне не вникать в ваши с ним отношения.

Еще до того, как у нас с тобой произошел этот разговор, ты успел послать отцу в ответ довольно глупую и грубую телеграмму. Да и все твои последующие действия были такими же грубыми и неумными.

Человек совершает роковые ошибки не потому, что ведет себя безрассудно (минуты, когда человек безрассуден, могут приносить ему и самые большие удачи в жизни), а как раз от излишней рассудочности. Вот главная причина глупых поступков.

Твоя телеграмма задавала тон всем твоим дальнейшим отношениям с отцом и, как следствие, повлияла на всю мою жизнь. Даже самый отпетый уличный хулиган постыдился бы отправить подобную телеграмму своему отцу, и в этом заключается вся абсурдность ситуации.

За этой разнузданной телеграммой, как и было тобой задумано, последовали формальные письма твоего адвоката, которые только подзадорили твоего отца.

Ты не оставил ему никакого выбора, и он вынужден был защищаться. Это стало для него вопросом чести, а скорее бесчестья, и именно этого ты добивался брошенным ему вызовом. Вот почему его следующая атака на меня была уже не как на твоего близкого друга и не в личном письме к тебе, а как на публичную фигуру и на глазах у публики. Дело дошло до того, что мне пришлось однажды выставить его из своего дома. Он ходил по всем ресторанам и разыскивал меня, чтобы публично, перед всем светом, поносить меня в таких выражениях, что, ответь я ему тем же, я погубил бы себя, а не ответь – все равно погубил бы.

Вот тогда-то и было самое время вмешаться тебе и внушить своему отцу, что ты ему не позволишь делать меня мишенью его гнусных нападков и наглого преследования и что, поскольку он это делает из-за тебя, ты готов отказаться от каких бы то ни было притязаний на мою

---

<sup>44</sup> Хомбург – курортный город с минеральными источниками в Германии, недалеко от Франкфурта-на-Майне. В 1893 г. в Хомбурге отдыхал тогдашний министр иностранных дел Великобритании лорд Роузбери, личным секретарем которого был виконт Фрэнсис Драмланриг, старший сын маркиза Куинзбери и брат Альфреда Дугласа. Маркиз Куинзбери, подозревая лорда Роузбери в интимной связи со своим старшим сыном и будучи человеком крайне неуравновешенным, едет в августе 1893 г. в Хомбург, чтобы лично расправиться с лордом Роузбери, но полиция не допускает скандала. Именно этот эпизод и имеет Уайльд в виду. Следует также добавить, что Драмланриг покончил с собой, боясь, что его могут шантажировать ввиду его отношений с лордом Роузбери.

<sup>45</sup> Дйclassй – опустившийся (фр.).

дружбу.

Надеюсь, теперь ты это понимаешь. Но в ту пору ты ни о чем подобном не думал. Тебя ослепляла Ненависть. Ты не мог придумать ничего умнее (если, конечно, не считать оскорбительных писем и телеграмм отцу), чем купить этот нелепый пистолет и выстрелить в ресторане отеля «Баркли», что вызвало такой скандал, об истинных размерах которого ты и сам не догадывался. Впрочем, тот факт, что из-за тебя разгорелась столь ожесточенная вражда между твоим отцом и таким известным человеком, как я, приводил тебя в полный восторг. Естественно предположить, что это только льстило твоему самолюбию и возвышало тебя в своих собственных глазах.

Если на минуту представить, что, в качестве выхода из конфликта, твой отец получил бы твою физическую оболочку (которая не интересовала меня) и оставил бы мне твою душу (которая не интересовала его), тебя бы такой вариант не устроил. Увидев шанс устроить публичный скандал, ты не мог упустить его. Тебе не терпелось спровоцировать битву, в которой ты сам оставался бы в полной безопасности. Никогда раньше я не видел тебя в таком приподнятом расположении духа, как в то время. Тебя огорчало лишь то (во всяком случае, так мне казалось), что никаких встреч между мной и твоим отцом, а следовательно, и стычек между нами, больше не происходило. Чтобы утешить себя, ты начал посылать отцу такие немыслимые телеграммы, что несчастному пришлось отдать распоряжение прислуге ни в коем случае не вручать их ему, о чем он известил в письме и тебя. Но это ничуть не остановило тебя.

Ты решил использовать преимущества открыток, учитывая, что он не сможет их не читать, и стал забрасывать его ими. Этим ты еще больше раззадорил его. Впрочем, в любом случае он не отказался бы от своих намерений – я в этом уверен. Уж слишком сильно говорили в нем родовые инстинкты. Его ненависть к тебе была столь же неукротимой, как и твоя ненависть к нему, а я служил для вас обоих лишь удобным предлогом для взаимных атак, орудием для нападения и обороны.

Потребность находиться в центре внимания – и чем скандальнее повод, тем лучше – была в твоём отце даже не личной чертой, а семейной. Ну а в том случае, если бы его пыл стал угасать, ты раздул бы его заново своими письмами и открытками. Так, собственно, и случилось.

Более того, отец твой, как и следовало ожидать, пошел еще дальше. Поначалу он травил меня как лицо частное и частным образом, потом – как фигуру публичную и публично, но в конце концов решил прибегнуть к самому эффективному способу – атаковать меня как Художника, причем именно в том месте, где я представляю свое Искусство публике, то есть в театре... Он обманным путем достает билет на премьеру моей новой пьесы и замышляет устроить в театре грандиозный скандал, а именно: прервать спектакль, произнести гнусную речь в мой адрес, а заодно оплевать и моих актеров или же, когда закончится представление и я выйду на вызовы публики, осыпать меня грязными и непристойными оскорблениями – словом, разделаться со мной, прибегнув к какой-нибудь безобразной выходке и использовав в качестве орудия мое же Искусство.

По чистой случайности об этом становится известно другим, ибо он, в припадке пьяной откровенности, имел неосторожность распустить перед ними язык насчет своего хитроумного плана. Они сообщают об этом в полицию, и его в театр не пускают. Вот тут бы тебе и сказать свое веское слово: случай представился как нельзя более подходящий.

Неужели ты до сих пор не понял, что тебе следовало бы, пользуясь моментом, заявить тогда во всеуслышание, что ты не дашь в обиду мое Искусство, не позволишь, чтобы оно было принесено в жертву ради тебя. Ведь ты знал, что значит для меня Искусство, знал, что оно – та великая вечная музыка, дивные звуки которой помогли мне открыть свою душу – сначала для себя, а затем и для всех других; что оно – подлинная моя страсть, главная моя любовь, рядом с которой все мои другие чувства – все равно что болотная жижа по сравнению с красным вином или крошечный светлячок по сравнению с волшебным зеркалом луны. Неужто ты и по сию пору не понял, что отсутствие воображения – самый пагубный порок твоего характера?

В создавшейся тогда ситуации перед тобой стояла в высшей степени простая и ясная задача, но тебя ослепляла Ненависть, не давая тебе увидеть, что нужно делать. Не мог же я просить

прощения у твоего отца за то, что он почти девять месяцев подряд преследовал и оскорблял меня самым разнузданным образом. Исключить тебя из своей жизни я тоже не мог, хоть и пытался не раз.

В конце концов, в надежде укрыться от тебя, я решил бежать из Англии за границу, но это тоже не помогло. Ты был единственным человеком, кто мог бы меня спасти. Ключ к решению ситуации был только в твоих руках. У тебя была уникальная возможность хотя бы отчасти отблагодарить меня за всю мою любовь, привязанность, доброту и щедрость к тебе, за всю мою о тебе заботу. Если бы ты ценил во мне хотя бы десятую долю моего художественного таланта, ты знал бы, что делать, и сделал бы это.

То свойство, «которое одно лишь позволяет человеку понимать других в их реальных и идеальных проявлениях», полностью в тебе омертвело. Ты думал только о том, как бы упрятать своего отца за решетку. Увидеть его «на скамье подсудимых», как ты неустанно любил повторять, стало твоей идеей фикс, одним из *scies*<sup>46</sup> всех твоих разговоров.

Ты произносил эти слова по несколько раз за каждой трапезой. Что ж, твое желание исполнилось. Ненависть даровала тебе все, о чем ты мечтал. Она была доброй твоей Госпожой, во всем тебе потакавшей. Такой она бывает со всеми, кто ей преданно служит. Два дня ты просидел на возвышении рядом с шерифами, наслаждаясь зрелищем своего отца на скамье подсудимых в Центральном уголовном суде. А на третий день на его месте оказался я. Что же произошло? А то, что вы с отцом, играя в вашу чудовищную игру в ненависть, оба бросили кости, ставя на мою душу, и тебе не повезло – ты проиграл. Вот и все.

Итак, я дошел в своем рассказе до того дня, когда попал в следственную тюрьму. После ночи в полицейском участке меня отвезли туда в тюремной карете. Ты был в высшей степени добр и внимателен ко мне. До того как уехать за границу, ты регулярно, едва ли не каждый день, проделывал все это расстояние до Холлоуэя<sup>47</sup> специально для того, чтобы повидаться со мной. Ты писал мне очень теплые, очень славные письма. Но при этом тебе и в голову не приходило, что посадил меня в тюрьму вовсе не твой отец, а именно ты, что с самого начала и до конца ты, и один только ты был за это в ответе, – словом, что попал я сюда исключительно из-за тебя, благодаря тебе и по твоей милости. Твоя омертвевшая, лишенная воображения душа не пробудилась даже тогда, когда ты увидел меня за решеткой моей деревянной клетки.

Если ты и сочувствовал мне, то сочувствие твое было чисто сентиментального свойства – нечто вроде того абстрактного сострадания, которое вызывает у театрального завсегдатая герой какой-нибудь душещипательной трагедии. А то, что автором этой трагедии был никто иной, как ты, тебе и в голову не приходило.

Я прекрасно видел, что ты совершенно не сознаешь, насколько ужасно со мной поступил. Тем не менее я не стал открывать тебе глаза на то, что должно было подсказать тебе сердце, – и, наверное, подсказало бы, если бы ты не позволил Ненависти ожесточить его до полной бесчувственности.

Человек должен до всего доходить сам – своей собственной головой и своей собственной совестью. Какой смысл растолковывать ему то, чего он ни почувствовать, ни понять не в состоянии?! Если я и взялся сейчас за эту неблагоприятную задачу, то вынудили меня к этому твое долгое молчание и непонятное поведение во время моего заточения.

Как в конце концов оказалось, удар обрушился на меня одного. Я был этому только рад. Существовало немало причин, ввиду которых я готов был покорно сносить страдания, но твоя полнейшая и безнадежная слепота относительно собственной роли во всем этом деле казалась мне более чем достойной презрения.

Помню, с какой нескрываемой гордостью ты показал мне письмо, написанное тобой обо мне и посланное в какую-то дешевую газетенку. Оно было сформулировано в чрезвычайно пристойных и умеренных выражениях, но производило впечатление ужасно банального сочинения.

<sup>46</sup> *Scies* – здесь: навязчивый лейтмотив (фр.).

<sup>47</sup> Холлоуэй – в эту тюрьму Уайльда поместили в начале апреля 1895 г.

Ты напоминал в нем читателям о пресловутом понятии «английской честной игры» или о чем-то столь же избитом и призывал «не бить лежащего».

Такого рода письма уместно писать в тех случаях, когда несправедливому обвинению подвергают какого-нибудь добропорядочного обывателя, к тому же лично не знакомого пишущему, но речь-то ведь шла обо мне. Однако тебе это письмо казалось шедевром. Ты считал, что проявил рыцарское, чуть ли не донкихотское благородство. Мне известно, что ты писал и другие письма и посылал их в другие газеты, но там их попросту не печатали. И неудивительно: в них не говорилось ни о чем другом, кроме как о том, насколько ты ненавидишь своего отца. А кому это было нужно? Неужели ты до сих пор не понял, что Ненависть, если говорить о ней с философской точки зрения, есть вечное отрицание, а с точки зрения чувств – это один из видов их атрофии, поскольку Ненависть умерщвляет все, кроме самой себя.

Писать в газеты о том, что ненавидишь какого-то человека, это все равно что во всеуслышание заявлять о своей тайной и постыдной болезни, и то обстоятельство, что человек этот – твой родной отец и что он отвечает тебе точно такими же чувствами, отнюдь не служит тебе оправданием, а только лишний раз подтверждает, что ненависть в тебе – наследственная болезнь.

Мне снова вспоминается письмо, которое я написал тебе после того, как было конфисковано все мое имущество, проданы с молотка все мои книги вместе со всей обстановкой и над моей головой нависла угроза быть объявленным несостоятельным должником. Так вот, я и словом не обмолвился в том письме, что судебные исполнители, явившиеся ко мне в дом – тот самый, где ты так часто обедал со мной, – описали мою собственность, в сущности, тоже из-за тебя: в счет уплаты за подарки, что ты получал от меня. Но в то время я искренне думал – не знаю уж, обоснованно или нет, – что, напиши я тебе об этом, ты ужасно расстроишься, а потому ограничился изложением одних голых фактов, не раскрывая причин. Ну а что касается этих фактов – описи моего имущества и грозящего мне банкротства, – мне казалось, о них ты все-таки должен знать.

Твой ответ на мое письмо, присланный тобой из Булони,<sup>48</sup> был написан чуть ли не в восторженно-приподнятом духе.

Ты сообщал мне, что у твоего отца в настоящее время «ветер свистит в карманах», что на судебные издержки ему пришлось выложить целых полторы тысячи фунтов и что на самом деле мое банкротство – не поражение, а «блестящая победа» над твоим дражайшим папочкой, так как теперь он не сможет выудить у меня ни единого пенса из этой суммы!

Удостоверился ли ты хоть теперь, что Ненависть действительно может ослепить человека? Согласишься ли ты со мной хоть сейчас, что, характеризуя ее как чувство, вызывающее атрофию всех других чувств, кроме нее самой, я, в сущности, дал научное определение психологическому феномену, имеющему место в реальной жизни?

Тебе было наплевать, что с молотка пойдут все эти прелестные, дорогие для меня вещи: и рисунки Бёрн-Джонса,<sup>49</sup> и наброски Уистлера,<sup>50</sup> и мой Монтичелли,<sup>51</sup> и мой Саймон Соломон,<sup>52</sup> и моя коллекция фарфора; и моя обширная библиотека с ее коллекцией редчайших *éditions de luxe*,<sup>53</sup> с прекрасно изданными, в великолепных переплетах произведениями обоих моих родите-

<sup>48</sup> Булонь – город на севере Франции на побережье пролива Па-де-Кале.

<sup>49</sup> Эдвард Бёрн-Джонс (1833–1898) – английский живописец, рисовальщик, мастер декоративно-прикладного искусства. Как и другие прерафаэлиты, прибегал к стилизации приемов итальянской живописи XV в., писал лирические картины на темы средневековых легенд. Уайльд поддерживал довольно близкое знакомство с Бёрн-Джонсом.

<sup>50</sup> Джеймс Уистлер (1834–1903) – американский художник, подолгу живший в Англии и одно время друживший с Уайльдом. По манере своей живописи был близок к французским импрессионистам.

<sup>51</sup> Монтичелли (1824–1866) – французский художник итальянского происхождения, близкий к импрессионистам.

<sup>52</sup> Саймон Соломон (?–1905) – английский художник, близкий к кругу прерафаэлитов; в 1873 г. был осужден за аморальное поведение; умер в богадельне.

<sup>53</sup> *Ditions de luxe* – роскошные издания, преимущественно фолианты или раритеты (фр.).



лей, с ее уникальным собранием дарственных томиков почти всех современных поэтов – от Гюго до Уитмена, от Суинберна<sup>54</sup> до Малларме,<sup>55</sup> от Морриса<sup>56</sup> до Верлена,<sup>57</sup> и весь великолепный набор моих школьных и университетских наград, и многое, многое другое.

Но ты дал мне понять в своем ответном письме из Булони, что такие материи тебе ужасно скучны, – вот и все сочувствие, какого я от тебя дождался. Намного более интересным тебе показалось то, что благодаря моему банкротству твой отец потеряет несколько сотен фунтов.

Это мелочное соображение привело тебя в настоящий восторг.

Ну а если уж говорить о столь волнующих тебя судебных издержках, то тебе небезынтересно будет узнать, что твой отец публично заявил в Орлеанском клубе буквально следующее: обойдись ему эти издержки не в полторы, а пусть даже в двадцать тысяч фунтов, и то он считал бы эти деньги не напрасно потраченными – такое удовольствие, ликование и торжество он испытал от судебной расправы надо мной.

Сознание, что он сумел не только упрятать меня за решетку на целых два года, но и вытащить меня оттуда на один-единственный день специально для того, чтобы объявить меня перед всем светом банкротом, наполнило его сердце такой острой радостью, что это удивило даже его самого. Увы – то, что воспринималось им как триумф, я переживал как крайнюю степень унижения.

Я уверен, что, если бы твой отец не пытался переложить свои судебные издержки на меня, ты, конечно же, проявил бы ко мне сочувствие (по крайней мере словесное) в то нелегкое для меня время, когда я потерял всю свою библиотеку, а ведь такая потеря для писателя совершенно невозполнима – она для него, пожалуй, самая тяжелая из всех материальных потерь.

А если бы ты вспомнил, какие огромные суммы я тратил не скупясь на тебя и сколько времени ты жил полностью на мой счет, то ты уж постарался бы выкупить для меня хотя бы некоторые из моих книг. Лучшие из них пошли менее чем за полтора фунта огулом: примерно столько же я обычно тратил на тебя за неделю.

Но мелкое чувство злорадства, которое ты испытывал при мысли о том, что твой отец может потерять лишние несколько пенсов в результате того, что меня объявят неплатежеспособным, заставило тебя начисто забыть, что тебе следовало бы в качестве элементарной благодарности попытаться вернуть для меня хотя бы часть моего имущества, и особенно книги. Казалось бы, это было так естественно, так просто, так недорого сделать и в то же время это так помогло бы мне в постигшей меня беде. Но помощи от тебя я не дождался.

Разве я не прав, уже в который раз повторяя, что Ненависть ослепляет человека? Понимаешь ли ты это хоть теперь? Если нет, то постарайся понять.

Я-то, конечно, прекрасно все понимал – и тогда и теперь. Но я сказал себе: «Чего бы мне это ни стоило, я должен сохранить в своем сердце Любовь. Если я отправлюсь в тюрьму без Любви, что станет с моей Душой?»

В письмах, которые я писал тебе в то время из Холлоуэя, Любовь по-прежнему звучала главной мелодией моей души, хотя у меня были все основания терзать твое сердце горькими, гневными упреками и осыпать тебя самыми ужасными проклятиями. Я мог бы поднести к твоему лицу зеркало, чтобы ты увидел себя в таком страшном обличье, что не сумел бы узнать себя. И лишь обнаружив, насколько точно отражение в зеркале передразнивает твои гримасы и жесты, ты понял бы наконец, что за чудовище взирает на тебя оттуда, и навек возненавидел бы и его и себя.

---

<sup>54</sup> Алджернон Суинберн (1837–1909) – английский поэт, прославлявший чувственность и языческий гедонизм.

<sup>55</sup> Стефан Малларме (1842–1898) – французский поэт-символист.

<sup>56</sup> Уильям Моррис (1834–1896) – английский художник, писатель, теоретик искусства. Литературное творчество Морриса отмечено романтической стилизацией.

<sup>57</sup> Поль Верлен (1844–1896) – французский поэт-символист.



Скажу больше того. На меня были взвалены грехи, которые совершил не я, а другой человек, и если бы я захотел, то мог бы на любом из обоих судебных процессов указать на истинного виновника и таким образом спасти себя если не от позора, то, во всяком случае, от тюрьмы.

Будь у меня желание, мне ничего не стоило бы доказать, что три самых важных свидетеля обвинения были соответствующим образом проинструктированы твоим отцом и его адвокатами, что они не только о многом умалчивали, но и давали заведомо ложные показания, приписывая мне – намеренно, по заранее задуманному и согласованному друг с другом до мельчайших подробностей плану – поступки и действия, совершенные другим человеком.

Я мог бы добиться от судьи отстранения от дачи свидетельских показаний всей троицы, причем сделать это было даже проще, чем в случае этой несчастной жертвы лжесвидетельств Аткинса.<sup>58</sup> Я мог бы выйти из зала суда свободным человеком, сунув руки в карманы, с победной улыбкой на лице.

Люди, чьей единственной заботой было и остается мое благополучие и благополучие моей семьи, настойчиво убеждали меня помешать свершению несправедливости; да что там убеждали – умоляли и заклинали меня. Но я отказался. Я не пошел на это. И никогда не сожалел о своем решении, даже в самые тяжелые минуты своего заточения. Такая линия поведения была бы ниже моего достоинства. Изъянов плоти не стоит стыдиться. Это болезни, и лечить их – дело врачей. Изъяны души – вот что нужно считать постыдным. Добившись своего оправдания недостойными средствами, я обрек бы себя на пожизненную пытку.

Но скажи мне, неужели ты считал себя достойным любви, которую я в то время к тебе проявлял? Неужели обманывался иллюзией, что я и в самом деле мог думать, будто ты достоин такой любви? В том-то и дело, что я никогда так не думал. Просто мне казалось и кажется до сих пор, что Любовь не выносят на рынок, не швыряют на весы торгаша. Главное для нее, как и для нашего разума, – ощущать себя живой. Любить – вот в чем назначение Любви, и только в этом.

В сущности, ты был для меня врагом – худшим из врагов, какого только может иметь человек. Я отдал тебе свою жизнь, а ты, в угоду самым презренным и низменным страстям человека – Ненависти, Тщеславию и Корысти, – растоптал ее. Менее чем за три года ты сумел погубить меня во всех отношениях.

Но мне, ради себя же самого, оставалось только одно – любить тебя, как и прежде. Ведь если бы я позволил себе возненавидеть тебя, то в иссушенной пустыне моего существования, по которой я вынужден был брести и бреду до сих пор, каждая скала лишилась бы своей тени, каждая пальма увяла бы, каждый родник был бы отравлен в своем истоке. Начинаешь ли ты это понимать хоть теперь?

Просыпается ли твое воображение, так долго погруженное в летаргический сон?

Ты уже хорошо знаешь, что такое Ненависть. Так, может быть, к тебе приходит и понимание того, что такое Любовь и в чем она может проявляться? Тебе еще не слишком поздно постигнуть это, но для того, чтобы преподать тебе этот урок, мне пришлось угодить в тюремную камеру.

После того как мне вынесли приговор, несправедливый и беспощадный, напялили на меня тюремную одежду и захлопнули за мной тюремные ворота, я оказался среди развалин и обломков своей прекрасной жизни, раздавленный тоской, скованный страхом, ошеломленный болью. Но все же я не хотел ненавидеть тебя. Ежедневно, с утра до вечера, я неустанно твердил себе: «Нужно и сегодня сберечь Любовь в моем сердце, иначе как прожить этот день?»

Я старался убедить себя, что ты поступил со мною так дурно без злого умысла. Я заставлял себя думать, что ты натянул свой лук не целясь и стрела лишь случайно поразила царя сквозь швы лат.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Фредерик Аткинс – один из случайных знакомых Уайльда, свидетель обвинения на его судебном процессе, дававший столь противоречивые показания, что был в конце концов привлечен к ответственности за лжесвидетельство.

<sup>59</sup> См. Ветхий Завет, Третья книга Царств, XXII, 34.

Я чувствовал, что взвешивать твою вину на одних весах с обрушившейся на меня трагедией, кладя на мою чашу весов абсолютно все мои горести и утраты, включая самые мелкие, самые незначительные, было бы несправедливо. Я решил, что буду и на тебя смотреть как на мученика, заставил себя поверить, что пелена наконец-то спала с твоих давно не видящих глаз. Я часто представлял, с каким ты, должно быть, ужасом взираешь на страшные деяния рук своих, и мне становилось за тебя больно.

Даже в те тяжелые для меня дни, самые тяжелые во всей моей жизни, нередко бывало так, что мне хотелось разделить с тобой твои душевные муки и успокоить тебя. Вот до чего я был уверен, что ты наконец-то понял свою вину и что это заставило тебя страдать.

Мне тогда и в голову не приходило, что среди твоих многочисленных недостатков есть еще и поверхностность – и в чувствах, и в мыслях, и в отношении к людям. А ведь я ужасно переживал, что, получив наконец право на переписку – увы, в ограниченном объеме, по одному письму за определенный период, – я вынужден был первое свое послание написать не тебе, а посвятить его улаживанию семейных дел. Объяснялось это вот чем.

Брат моей жены сообщил мне в письме, что если я напишу ей – пусть даже всего один раз, – то она не станет, ради меня и наших детей, возбуждать дело о разводе со мной, ну и я, конечно, считал своим долгом первое свое письмо из тюрьмы написать именно ей. Не говоря уже о других причинах, для меня была невыносимой мысль, что меня могут разлучить с Сирилом,<sup>60</sup> моим чудесным, горячо любимым и любящим меня сыном, лучшим из всех моих друзей, самым близким мне человеком, один волосок с золотой головы которого дороже для меня не только тебя и твоей дружбы, но и всех сокровищ Земли. Собственно, таким он был для меня всегда, но понял я это слишком уж поздно.

Где-то через пару недель после твоего обращения к начальству тюрьмы с просьбой разрешить мне переписку с тобой я узнал последние новости о тебе. Их сообщил мне Роберт Шерард,<sup>61</sup> самый, кстати, бесстрашный и благородный из всех блистательных людей, которых мне доводилось знать.

Когда он пришел ко мне на свидание, я, попросив его рассказать о тебе, вдруг узнаю, что ты собираешься опубликовать в этом нелепом журнале «*Mercure de France*»,<sup>62</sup> со столь смехотворной настойчивостью тещаешься выдавать себя за центр литературного декаданса и безнравственности, свою статью обо мне с выдержками из моих писем.

Роберт спросил – неужели я дал на это согласие? Я был просто-таки ошарашен, а еще больше разгневан, услышав такую новость, и попросил его сделать все, чтобы этого не допустить.

Мне была известна твоя небрежная привычка бросать мои письма как попало и где попало, так что твоим друзьям-шантажистам ничего не стоило их похищать у тебя, а когда ты останавливался в отелях, мои письма валялись у тебя на самых видных местах, и их раскрадывали слуги и горничные с тем, чтобы затем продавать.

С одной стороны, это говорило о том, насколько ты неаккуратен, а с другой – насколько тебе безразлично то, о чем я тебе пишу. И все же мне трудно было поверить, что ты действительно собираешься опубликовать выдержки из тех писем, которые каким-то чудом не растаскали. Интересно, какие из них ты решил отобрать? Этого я так и не смог узнать. Такова была самая первая новость, которую я узнал о тебе. Естественно, она не привела меня в особый восторг.

За первой вскоре последовала и вторая. Ко мне в тюрьму явились поверенные твоего отца, чтобы вручить уведомление о неуплате мною каких-то несчастных семисот фунтов – в такую

---

<sup>60</sup> Сирил (1885–1915) – старший сын Уайльда; после ареста Уайльд больше не видел ни Сирила, ни второго своего сына Вивиана.

<sup>61</sup> Роберт Шерард (1861–1943) – английский писатель и журналист, близкий друг Уайльда, написавший о нем четыре книги.

<sup>62</sup> Французский общественно-литературный журнал «Меркюр де Франс» издавался с 1890 г. группой писателей и поэтов символистского направления.

сумму они оценили судебные издержки. Меня объявили несостоятельным должником и доставили в суд. А я ведь считал (как считаю и до сих пор – впрочем, я еще вернусь к этому), что названные издержки должна была оплатить твоя семья. В том-то и весь вопрос, что ты лично заверил суд в том, что оплату издержек полностью возьмут на себя твои родственники.

Поверенный твоего отца возбудил против меня дополнительное дело о признании меня банкротом, исходя именно из твоих заверений. Так что полную за это ответственность нес только ты. Но даже безотносительно к тому, что ты от имени своей семьи взял на себя эти злополучные обязательства, неужели тебе не пришло в голову, что, и без того явившись причиной обрушившегося на меня бесчестия и разорения, ты мог бы по крайней мере уберечь меня еще и от этой порции унижения, когда меня вновь объявили неплатежеспособным из-за совершенно ничтожной суммы, составлявшей менее половины того, что я истратил на тебя за три летних месяца в Горинге. Впрочем, больше я распространяться об этом не стану. Напомню лишь те слова, которые помощник поверенного передал мне от тебя относительно этого дела, а точнее, в связи с тем, что он приехал ко мне в тюрьму по этому делу.

В тот день, снимая с меня письменные показания, он вдруг перегнулся ко мне через стол – а дело происходило в присутствии начальника тюрьмы – и, сверившись с какой-то бумажкой, которую он вынул из кармана, тихо, почти шепотом, произнес:

– Принц Флёр-де-Лис<sup>63</sup> просил передать вам привет.

Я с недоумением уставился на него. Он снова повторил то же самое. Но я по-прежнему не понимал, о чем речь.

– Этот джентльмен сейчас за границей, – таинственно добавил он.

Только тогда меня осенило – так вот он о ком! И меня, помимо моей воли, начал разбирать смех. Да, да, я отлично помню: я не смог удержаться и расхохотался – в первый и последний раз за все время моего пребывания в темнице. Это был горький смех, в нем звучало все презрение мира.

Так вот оно что: принц Флёр-де-Лис! Мне вдруг стало как никогда ранее ясно – и все последующие события только подтвердили мою правоту, – что, несмотря на случившееся, ты так ничего и не понял. Ты по-прежнему видел себя в роли очаровательного принца в изящной комедии, а не в роли зловещего героя мрачной трагедии.

Все происшедшее представлялось тебе как золотое перо на шляпе (но шляпа эта венчала такую узколобую голову) или как розовый цветок на камзоле (но за этим камзолом было спрятано сердце, что питается Ненавистью, одной только Ненавистью, а вот для Любви, одной лишь Любви, остается абсолютно холодным).

Надо же, принц Флёр-де-Лис! Хотя, в конечном итоге, ты был прав, обратившись ко мне под вымышленным именем. Ведь сам я в то время был лишен какого бы то ни было имени.

В огромной тюрьме, где я томился в неволе, моим именем стали буквы и цифры на двери моей тесной камеры – один из тысячи мертвых номеров на дверях точно таких же камер, выстроившихся вдоль бесконечно протянувшейся галереи; один из тысячи номеров, обозначающих мертвую жизнь.

С другой стороны, есть великое множество реальных, исторических личностей, чьи имена подошли бы тебе гораздо больше, чем придуманный тобой Флёр-де-Лис. По любому из этих имен я легко узнал бы тебя. Но распознать тебя под мишурным забралом и блестками, пригодными лишь для легкомысленного бала-маскарада, было не так-то просто.

Ах, если бы твоя душа – ради нее же самой – стонала бы, раненная жалостью, скорбела бы, терзаемая раскаянием, мучилась бы, истомленная состраданием, она не выбрала б себе такого обличья, чтобы под этой личиной найти доступ в Обитель Скорби!

Все, что есть великого в жизни, великим и выглядит, хотя именно по этой причине, как ни странно, мы не можем его распознать. Ну а мелочи жизни – это символы, с помощью которых жизнь самым наглядным образом преподает нам свои самые горькие уроки. Твой случайный – на

---

<sup>63</sup> Флёр-де-Лис (Fleur-de-Lys) – в переводе с французского, «цветок лилии». Принц Флёр-де-Лис – прозвище Альфреда Дугласа, полученное им после того, как он написал балладу «Нарцисс и Флёр-де-Лис».

первый взгляд – выбор для себя выдуманного имени имел на самом деле символическое значение. Он полностью раскрыл твою суть.

Через шесть недель пришла и третья новость. Я лежал тогда в тюремной больнице, самочувствие у меня было прескверное, и вдруг меня вызывают к начальнику тюрьмы в связи с полученным от тебя письмом, направленным на его имя. В письме, которое он прочитал мне вслух, ты сообщал, что собираешься опубликовать в «*Mercure de France*» («этот журнал», добавлял ты неизвестно зачем, «примерно соответствует нашему английскому „Фортнайтли ревю“») статью „о суде над мистером Оскаром Уайльдом“ и хотел бы получить „разрешение этого джентльмена на публикацию некоторых выдержек из его писем“. Из каких же, интересно? Оказывается, из тех, что я писал тебе из тюрьмы Холлоуэй!

Подумать только – это ведь те письма, которые, как никакие другие, должны были бы стать для тебя чем-то священным, сокровенным и неприкосновенным! Так нет же, тебе понадобилось опубликовать именно их – и ради чего?

Неужели только ради того, чтобы над ними презрительно кривил губы какой-нибудь пресыщенный *décadent*?! Или чтобы их использовал в своих пасквилях какой-нибудь бесцеремонный и бойкий *feuilletoniste*?!<sup>64</sup> Или чтобы их жадно проглатывали и цитировали друг другу юные светские львы из *Quartier Latin*?!<sup>65</sup>

И если в твоём сердце не нашлось ничего, что могло бы возопить против столь чудовищного святотатства, то, по крайней мере, ты мог бы вспомнить сонет, написанный тем, кто с такой болью, с таким гневом наблюдал, как продают на аукционе в Лондоне письма великого Джона Китса, и тогда ты смог бы наконец понять истинный смысл моих строк:

Не может тот любить Искусство,  
Кто разбивает на куски  
Без сожаления и чувства  
И под глумливый вой толпы  
Хрустальные сердца поэтов –  
А их ведь горсть на свете этом!<sup>66</sup>

Что же ты собирался сказать своей статьей? Может быть, тебе просто хотелось, чтобы миру стало известно, как сильно я был привязан к тебе? Но об этом и так знает каждый парижский *gamin*.<sup>67</sup> Все в Париже читают газеты, а многие даже пописывают для них.

Или ты думал таким образом открыть французам глаза на то, что я гениален? Но французы, слава Богу, видят это и сами; они давно уже сумели распознать и по достоинству оценить всю уникальность моего таланта, чего, между прочим, ты сделать так и не смог – да от тебя этого и нельзя было ожидать.

Или же ты пытался доказать, что гениальности нередко сопутствуют самые удивительные отклонения в страстях и желаниях? Что ж, отлично – но, мне кажется, пусть лучше этим предметом занимается Ломброзо,<sup>68</sup> а не ты. Кроме того, такого рода патологические явления встречаются и среди тех, кого природа не одарила гением.

А может быть, твоей целью было поведать миру, что в ненавистнической войне между то-

<sup>64</sup> *Feuilletoniste* – фельетонист, писака(фр.).

<sup>65</sup> *Quartier Latin* – Латинский квартал, где расположен Парижский университет Сорбонна.

<sup>66</sup> Перевод В. Чухно.

<sup>67</sup> *Gamin* – (уличный) мальчишка (фр.).

<sup>68</sup> Чезаре Ломброзо (1835–1909) – итальянский судебный психиатр и криминалист, родоначальник антропологического направления (ломброзианства) в криминологии и уголовном праве. Выдвинул положение о существовании особого типа человека, предрасположенного к совершению преступлений в силу определенных биологических признаков.



бой и твоим отцом я служил для вас обоих одновременно и оружием и щитом? Или, более того, что когда твой драгоценный родитель по окончании этой войны подверг меня чудовищной травле, то ему удалось настигнуть меня только потому, что мои ноги запутались в расставленных тобой тенетах? Да, так оно все и было, но, как мне стало известно, об этом уже написал Анри Бауэр,<sup>69</sup> причем сделал это превосходно.

Даже в том случае, если ты просто хотел подтвердить факты, сообщенные им в своей публикации, то для этого вовсе не было необходимости печатать мои письма – по крайней мере те, что были написаны в тюрьме Холлоуэй.

Ты, конечно, скажешь в свое оправдание, что в одном из писем, написанных в Холлоуэе, я и сам просил тебя попытаться обелить меня в глазах хотя бы небольшой части общества. Да, не спорю, я действительно просил об этом. Но вспомни, почему я нахожусь здесь и как я сюда попал. Неужели ты думаешь, что я очутился здесь за какие-то особые отношения со свидетелями, выступившими на моем процессе?

Смею тебя уверить, что мои вымышленные или реальные отношения и с ними, и с другими людьми ни в малейшей степени не интересовали ни Правительство, ни Общество в целом. Они ничего не знали и не желали знать об этом, а попал я сюда лишь за то, что попытался посадить в тюрьму твоего отца. Разумеется, мне это не удалось.

Мои защитники не смогли меня защитить. Твой отец сделал так, что мы с ним поменялись ролями, и не он, а я оказался в тюрьме, где и сижу до сих пор. Вот за что меня презирают. Вот из-за чего мной гнушаются. Вот по какой причине мне придется отбывать полный срок в этой ужасной тюрьме – до последнего дня, до последнего часа, до последней минуты. Вот почему на все мои прошения отвечают отказом.

Ты был единственным, кто мог бы, не подвергая себя насмешкам, риску или осуждению, придать всему этому делу иную окраску, представить его в ином свете, приоткрыть хотя бы до некоторой степени истинное положение вещей.

Конечно, я при этом не мог ожидать и даже не хотел бы, чтобы ты рассказывал о том, каким образом и зачем ты просил моей помощи, когда у тебя были неприятности в Оксфорде. Или же о том, как почти на целых три года ты сделался моей тенью, бесцеремонно навязывая мне свое общество, и какие при этом ты преследовал цели, если таковые у тебя действительно были.

Точно так же тебе не было бы необходимости рассказывать со всеми теми подробностями, которые я привожу в этом письме, о моих постоянных попытках положить конец нашей дружбе, столь губительной для меня как художника и как человека с определенным положением в обществе, да и, если угодно, просто как члена общества.

Равным образом я бы не хотел, чтобы ты описывал те сцены, которые ты устраивал мне с такой утомительной регулярностью, или чтобы оглашал свои эксцентричные телеграммы, которые ты присылал мне в таком изобилии и в которых романтичность столь причудливо сочеталась с расчетливостью, или чтобы цитировал, как это вынужден делать я в этом письме, самые отвратительные места из твоих писем, говорящие о твоей абсолютной бессердечности.

И все же мне казалось, что было бы очень неплохо – причем не только для меня, но также и для тебя, – если бы ты все-таки попытался опровергнуть представленную твоим отцом суду версию нашей дружбы, столь же абсурдную, сколь и гнусную; столь же нелепую по отношению к тебе, сколь и унижительную по отношению ко мне.

Эта версия уже успела стать достоянием истории, и, по всей видимости, навсегда: на нее ссылаются, ей верят, она стала общепризнанным фактом и излюбленной темой проповедей священников и назиданий ханжей-моралистов, в то время как я, привыкший беседовать со всеми веками – и давно минувшими, и грядущими, – был вынужден выслушивать свой приговор от века нынешнего, века лицемеров и шутов.

Выше в этом письме я уже говорил – причем, признаюсь, не без горечи, – что не удивлюсь, если по иронии судьбы твой отец станет героем нравоучительных брошюр для воскресных школ,

---

<sup>69</sup> Анри Бауэр (1851–1915) – французский журналист и театральный критик; в июне 1895 г. опубликовал в газете «Эхо Парижа» статью, осуждающую судебное преследование Уайльда.

тебя поставят в один ряд с отроком Самуилом, а мне отведут место между Жилем де Ретцем и маркизом де Садом. Что ж, если даже так и случится, то, может быть, это и к лучшему. Я не собираюсь сокрушаться по этому поводу.

Один из многих уроков, которые преподает нам тюрьма, заключается в той простой истине, что порядок вещей таков, каков он есть, и все, чему суждено свершиться, свершается. Кроме того, у меня нет ни малейших сомнений, что в компании прокаженного злодея времен средневековья<sup>70</sup> или в компании автора «Жюстины»<sup>71</sup> я буду чувствовать себя гораздо уютнее, чем в компании Сэндфорда и Мертон.<sup>72</sup>

Но в то время, когда я писал тебе из Холлоуэя, я был убежден, что для нас обоих будет лучше, разумнее и правильнее все-таки попытаться опровергнуть ту ложь о наших с тобой отношениях, которую твой отец сумел навязать через своего адвоката суду в назидание нашему филистерскому обществу. Вот почему я и попросил тебя написать в какую-нибудь газету или журнал и рассказать, хотя бы в самых общих чертах, как все происходило на самом деле. От этого было бы, по крайней мере, побольше толку, чем от тех статей, которые ты печатал во французских газетах о семейной жизни своих родителей.

Ну скажи мне, какое французам дело до того, жили ли твои родители в согласии или нет? Невозможно представить себе более неинтересную для них тему. Их интересовало другое – как получилось, что знаменитый писатель, оказавший своим творчеством такое заметное влияние на французскую мысль, развивавший то направление в искусстве, олицетворением которого он сам был, мог своей жизнью навлечь на себя подобную травлю и подобный трагический финал?

Я мог бы еще понять, если бы ты решил опубликовать в своей статье, о намерении написать которую ты сообщил начальнику моей тюрьмы, отрывки из тех моих писем к тебе – а таких, я думаю, большинство, – в которых я писал о твоём пагубном влиянии на мою жизнь, о тех безумных приступах ярости, которым ты поддавался во вред и мне и себе, о моих неоднократных попытках положить конец нашей дружбе с тобой, во всех отношениях губительной для меня, – но даже в этом случае я все равно не разрешил бы их публикацию.

Мне вспоминается в связи с этим, как адвокат твоего отца, пытаясь уличить меня в непоследовательности, внезапно предъявил суду мое письмо, написанное тебе в марте 93 года. В нем я заявлял, что скорее предпочел бы «подвергаться регулярному вымогательству со стороны каждого арендодателя в Лондоне», чем выносить те гнусные сцены, которые ты беспрестанно и с таким противоестественным удовольствием устраивал мне.

Так вот, видеть, как эту глубоко личную сторону нашей дружбы выставили напоказ перед глазами охочей до дешевых сенсаций публики, было мне мучительно больно. Но еще более острую муку, еще более глубокое разочарование я испытал, когда убедился в полной твоей неспособности видеть то, что в жизни есть удивительного, чувствовать то, что в жизни есть утонченного, и воспринимать то, что в жизни есть прекрасного, о чем красноречиво свидетельствовало твое намерение опубликовать как раз те мои письма, в которых (и посредством которых) я старался сохранить живыми самый дух и саму душу Любви, чтобы не дать им покинуть мою телесную оболочку во все долгие годы предстоящих мне унижений.

Боюсь, я слишком хорошо понимаю, что тобой двигало. Если глаза твои были ослеплены Ненавистью, то веки твои сшило стальной нитью Тщеславие. Твоя беспредельная самовлюбленность притупила в тебе то свойство души, «которое одно лишь позволяет человеку понимать других в их реальных и идеальных проявлениях», и от длительного бездействия оно сделалось полностью бесполезным. Воображение твое томилось, как и я, в тюремной камере, Тщеславие забило окна в ней досками, а тюремщиком твоим была Ненависть.

<sup>70</sup> Имеется в виду уже упоминавшийся Уайльдом французский маршал Жиль де Ретц.

<sup>71</sup> Автор «Жюстины» – маркиз де Сад.

<sup>72</sup> Сэндфорд и Мертон – Уайльд говорит о популярной в XIX в. назидательной книге для детей «История Сэндфорда и Мертон», написанной английским писателем Томасом Деем (1748–1789). Герои этой книги были воплощением викторианской добропорядочности.

Катастрофа разразилась в начале ноября позапрошлого года. Меж тобою сегодняшним и этой затерявшейся вдали датой протекла полноводная река жизни. Вряд ли ты сумеешь разглядеть что-нибудь за этой неохватной ширию, тогда как мне кажется, что это происходило... нет, я даже не скажу вчера, а сегодня.

Страдание – это непрерывное, никогда не кончающееся мгновение. Его невозможно разделить на дни, на месяцы, на времена года. Мы можем лишь подмечать различные его нюансы и устанавливать, в какой последовательности они повторяются. У нас здесь само время остановилось в своем поступательном движении вперед. Вместо этого оно идет по кругу, вращаясь вокруг единого центра боли. Над нами господствует парализующая неподвижность жизни, в неизменном распорядке которой каждой мелочи отведено свое место, – мы едим, пьем, выходим на прогулку, ложимся и молимся (или, по крайней мере, становимся на колени для молитвы) в соответствии с кем-то установленными непреложными правилами и железными предписаниями.

Это свойство неподвижности жизни, придающее каждому ужасному дню полнейшее сходство с его собратьями, как бы сообщается и тем внешним силам, самой сущностью которых, казалось бы, являются непрерывные изменения.

О наступлении времени сева или жатвы, о жнецах, склонившихся над колосьями пшеницы, о сборщиках винограда, медленно пробирающихся в гуще увешанных спелыми гроздьями виноградных лоз, о траве в фруктовом саду, ставшей белой от опавшего цвета или усыпанной созревшими плодами, – обо всем этом мы ничего не знаем и не можем узнать.

У нас в тюрьме лишь одно время года – время Скорби. Даже солнце, даже луну – и те у нас отняли. День снаружи может быть золотым и лазурным, но для того, кто сидит внутри под тусклым, крохотным, забраным решеткой окошком, он всегда сер и уныл.

В камере вечные сумерки – и вечный сумрак в сердце. В сфере мысли, как и в сфере времени, движение тоже застыло. Вот почему то, что давно уже забыто тобой или может легко быть забыто, происходит со мной до сих пор и будет снова происходить и завтра и послезавтра. Помни об этом, и тогда ты хоть отчасти поймешь, почему я пишу тебе вообще и подобным образом в частности.

Через неделю после ареста меня перевезли сюда. А еще через три месяца умерла моя мать. Никто лучше тебя не знает, как я любил и чтил ее. Ее смерть настолько ужаснула меня, что я, всегда умевший выразить любые оттенки мысли и чувства, не в состоянии был, да и сейчас не смогу, найти нужных слов, чтобы передать испытанные мною боль и чувство стыда. Никогда, даже в пору наивысшего расцвета моего писательского мастерства, я не сумел бы отыскать таких фраз, которые смогли бы вынести на себе страшное и в то же время величественное бремя постигшего меня горя; которые смогли бы с исполненной достоинства трагической торжественностью прошествовать под звуки траурной музыки сквозь сумрачные покои моей невыразимой скорби.

Мои мать и отец завещали мне высокое имя, оставившее заметный след не только в литературе, искусстве, археологии и науке, но и в истории народа моей родной Ирландии, в ее национальном становлении и развитии.

И как же я поступил с этим благородным именем? Навеки обесчестил его, превратил в символ низости в глазах низкого люда, вывалил в грязи, отдал глупцам на глумление, чтобы они сделали его синонимом глупости, позволил черни завладеть им, чтобы она очернила его.

Что мне пришлось тогда выстрадать и как я страдаю сейчас – этого и перо не опишет, и бумага не выдержит. Моя жена, проявлявшая ко мне в час постигшего меня горя максимум доброты и участия, проделала весь долгий путь из Генуи в Англию (хотя и чувствовала себя нездоровой) специально для того, чтобы я узнал об этой невосполнимой, невозвратной утрате именно от нее, а не из чьих-либо равнодушных или враждебных уст.

Свои соболезнования прислали мне все, кому я по-прежнему оставался дорог. Даже те, кто не знал меня лично, услышав, какое новое горе пришло в мою и без того разбитую жизнь, просили передать мне свое искреннее сочувствие. Ты один остался равнодушен, никаких соболезнований мне не передал, ничего мне не написал.

О такого рода поступках лучше всего можно сказать словами Вергилия, с которыми он об-

ратился к Данте, когда они с ним проходили мимо тех, чья жизнь была лишена благородных порывов и высоких устремлений: «Non ragioniam di lor, ma guarda, e passa».<sup>73</sup>

Проходит еще три месяца. Из висящего снаружи на двери моей камеры календаря, где указаны мое имя, а также срок наказания и где регулярно отмечается мое поведение и выполненная за день работа, я узнаю, что на дворе уже май. Мои друзья снова навещают меня. Я, как всегда, расспрашиваю их о тебе. Мне отвечают, что ты сейчас на своей вилле в Неаполе и собираешься выпустить томик стихов. К концу разговора случайно выясняется, что ты решил посвятить стихи мне, и эта новость вызывает у меня какое-то гадливое чувство. Но я ничего им не говорю, а молча возвращаюсь в свою камеру, переполненный возмущением и презрением.

Как же ты мог додуматься посвятить мне книгу стихов, не испросив сначала моего разрешения? Как ты мог пойти на такое? Ты, конечно, скажешь в ответ, что в те дни, когда я был в зените славы и популярности, я, дескать, не возражал, чтобы ты посвятил мне свои первые опысы?

Да, действительно, не возражал, но должен тебе сказать, что я принял бы подобный знак уважения от любого юноши, вступающего на трудную и прекрасную стезю литературного творчества. Художнику всегда приятно принимать дань восхищения от почитателей – и уж вдвойне приятно от юности. Лавровые листья вянут, если собирают их увядшие руки. Только юность имеет право венчать художника лавровым венком. В этом и состоит основное преимущество молодости, хотя молодые этого не сознают.

Но дни унижения и бесчестия, как ты понимаешь, далеко не то же самое, что дни славы и популярности. Тебе на собственном опыте еще предстоит убедиться, что Благополучие, Наслаждение и Успех спечены из муки грубого помола и сшиты из сурового полотна, тогда как Горе и Скорбь хрупки и ранимы, как ничто другое на свете. На любое, даже самое легкое, самое неощутимое движение в материальном или идеальном мире Горе и Скорбь отвечают самым острым и болезненным образом. По сравнению с их мучительным трепетом дрожание тончайшего листика золота под воздействием невидимых глазу сил кажется несравненно более грубым.

Горе и Скорбь – это раны, кровоточащие от любого прикосновения, кроме легкого касания руки Любви, но даже и в этом случае кровотечение продолжается, хотя уже и без боли.

Если уж ты написал начальнику Уондсвортской тюрьмы,<sup>74</sup> испрашивая моего разрешения опубликовать мои письма в журнале «*Mercure de France*» («подобном», как ты ему объяснил, «нашему английскому „Фортнайтли ревю“»), то почему же ты не обратился к начальнику Реддингской тюрьмы, чтобы попросить через него моего согласия посвятить мне свои стихи, какими бы фантастическими причинами ты и ни обосновывал бы свою просьбу?

Не потому ли, что в первом случае речь шла о журнале, где я мог попросту запретить печатать свои письма, поскольку, как ты прекрасно знал, авторское право на них, а значит, и право давать разрешение на их перепечатку, всецело принадлежало (и принадлежит) одному только мне?

Ну а во втором случае ты так же прекрасно понимал, что свободен поступать, как тебе вздумается, и что я не узнаю о твоём самовольстве до тех пор, пока не будет уже слишком поздно помешать тебе. А ведь уже одно сознание, что меня обесчестили, растоптали, посадили в тюрьму, должно было заставить тебя, если уж тебе так хотелось поместить мое имя на титульном листе твоей книги, просить у меня об этом как об огромной любезности, высочайшей чести и исключительной привилегии. Ибо только так следует обращаться к тем, кто повергнут в прах и бесчестье.

Место, где обитают Скорбь и Страдание, – священная земля. Когда-нибудь ты поймешь, что это значит. А если не поймешь, ты так ничего и не узнаешь о том, что такое жизнь. Робби и

<sup>73</sup> «Non ragioniam di lor, ma guarda, e passa» – «Не будем говорить о них, а взглянем лишь и пойдем далее» (итал.) (цитируемая строка из «Божественной комедии» Данте приведена в переводе В. Чухно).

<sup>74</sup> Уондсвортская тюрьма – первые полгода своего заключения Уайльд провел в тюрьмах Пентонвилл (с 25 мая 1895 г.) и Уондсворт (с 4 июля 1895 г.), а остальное время – в Реддингской тюрьме (с 13 ноября 1895 г. по 19 мая 1897 г.).



такие натуры, как он, способны это понять.

Когда я в сопровождении двух полицейских был доставлен из тюрьмы в Суд по делам о несостоятельности, меня в длинном, мрачном коридоре этого заведения ждал никто иной, как Робби, чтобы на глазах у всей толпы почтительно снять предо мною шляпу, когда я, в наручниках, с понуренной головой, проходил мимо него.

Увидев этот простой, благородный и прекрасный жест, люди благоговейно притихли. Уверяю тебя, многие оказывались в Раю и за менее благородные деяния. Движимые именно такого рода высокими чувствами и такого рода любовью, святые преклоняли колена, чтобы омыть ноги нищему, или склоняли голову, чтобы поцеловать прокаженного в щеку.

Я ни разу, ни единым словом не обмолвился Робби об этом случае, поэтому не было бы ничего удивительного, если бы он думал, что я вообще не заметил его поступка. Ведь нельзя же благодарить за такие вещи традиционным образом и в традиционных выражениях!

Но память об этом я лелею в глубочайшей сокровищнице своего сердца. Она хранится в нем, как священный и неоплатный долг, и будет вечно там жить, уснащаемая бальзамом обильно проливаемых мною слез.

Когда стало очевидным, что Мудрость не в силах прийти мне на помощь, что Философия не в состоянии вернуть мир в мою душу, что присловья и изречения, призванные утешить меня, – это всего лишь прах и пепел в моих устах, тогда одной только памяти об этом скромном, безмолвном, не рассчитанном на дешевый эффект проявлении настоящей Любви удалось отворить дотоле закрытые для меня родники жалости и сострадания, превратить пустыню моей души в цветущий розами сад, смириться с горькой участью обреченного на одиночество изгнанника и восстановить гармонию моего израненного и разбитого сердца с великим сердцем Мироздания.

Когда ты сумеешь понять, насколько прекрасным был поступок Робби, а главное, почему это имело (и всегда будет иметь) такое огромное для меня значение, только тогда ты, возможно, поймешь, каким образом – в духе почитания и дружеского участия – тебе следовало бы обратиться ко мне за разрешением посвятить мне свои стихи.

Должен, правда, тебе сказать, что такого разрешения я не дал бы в любом случае. Возможно, при других обстоятельствах мне было бы даже приятно, что ко мне обращаются с подобной просьбой, но, как бы мне это ни льстило, я все равно ответил бы отказом – ради тебя самого.

Первый томик стихов, выпускаемый в свет молодым человеком, находящимся в весенней поре своей жизни, должен быть подобен внешнему цветку, белым душистым розам на газоне перед колледжем Магдалины, первоцветам на Камнорских лугах. Такой книге не вынести тяжелого бремени ужасной трагедии и непосильного груза отвратительного скандала.

Если бы я позволил тебе использовать свое имя в роли глашатая, возвещающего о выходе в свет сборника твоих поэтических произведений, я совершил бы непростительную эстетическую ошибку. Это создало бы вокруг твоей книги не слишком благоприятную атмосферу, а в современном искусстве атмосфера чрезвычайно важна.

Современную жизнь характеризуют, с одной стороны, сложность, а с другой – соотносительность всего происходящего в ней. В этом и состоят ее главные отличительные особенности. Для воспроизведения первого мы, художники, создаем определенную атмосферу, то есть передаем тончайшие нюансы, пробуждаем какие-то настроения, изображаем все в необычной перспективе, а второе мы воспроизводим с помощью заднего плана, или фона. Вот почему Скульптуру нельзя больше относить к изобразительным видам искусства, тогда как у Музыки есть все основания считаться одним из них. Вот почему Литература была, есть и навсегда останется самым высоким из всех искусств, отображающих жизнь.

Твоя маленькая книжечка должна была наполнять душу читателя идиллической атмосферой Сицилии и Аркадии, а не тлетворной затхлостью уголовного суда и не смрадным дыханием тюремной камеры.

Кроме того, посвящение такого рода было бы не просто проявлением дурного вкуса для художника – оно было бы совершенно неприемлемо и во всех других отношениях, поскольку свидетельствовало бы о том, что ты не отказываешься от той линии поведения, которой придерживался до и после моего ареста. На людей это произвело бы впечатление глупой бравады. Это

было бы проявлением того рода смелости, которая за бесценок покупается, но и за гроши продается в дешевых кварталах позора и бесчестия.

Увы, Немезида не пощадила нашей с тобой дружбы и раздавила нас обоих, как мух. Если бы ты посвятил свои стихи человеку, отбывающему срок в тюрьме, то это было бы воспринято обществом как неуклюжая попытка бросить ему дерзкий вызов; а ведь в своих ужасных письмах, которыми ты заваливал меня в прежние дни (надеюсь, ради тебя же самого, что эти дни никогда больше не возвратятся), ты любил похвастаться, что сумеешь кому угодно дать достойную отповедь.

Такое посвящение не произвело бы того положительного, серьезного впечатления, на которое, как я думаю – более того, уверен, – ты рассчитывал. Если бы ты посоветовался со мной, я порекомендовал бы тебе не торопиться с публикацией книги или, если уж тебе так не терпелось выпустить свое творение в свет, напечатать ее сперва анонимно и только потом, после того как твои песни завоюют сердца поклонников – а лишь эти сердца и стоят того, чтобы их завоевывать, – ты мог бы открыть свое лицо перед миром и заявить во весь голос: «Цветы, которыми вы так восхищаетесь, были возвращены мною, и вот теперь, в знак любви, уважения и восхищения, я подношу их тому, кого вы считаете парией и изгоем».

Но ты выбрал для этого не самый лучший способ и не самый лучший момент. Есть свои ритмы в любви и свои ритмы в литературе: ты не восприимчив ни к тем, ни к другим.

Я так много говорю об этом лишь для того, чтобы ты смог представить себе мое тогдашнее состояние и понять, почему я сразу же послал моему верному Робби письмо, выразив в нем весь переполнявший меня гнев и все мое презрение к тебе. Я написал ему, что категорически запрещаю тебе посвящать мне твои стихи, и попросил его позаботиться о том, чтобы те места в моем письме, которые касаются твоей особы, были слово в слово скопированы и пересланы тебе. Мне казалось, что пришло наконец-то время, когда мне удастся заставить тебя хотя бы отчасти увидеть и осознать все, что ты натворил.

Духовная слепота человека, если не остановить ее развитие вовремя, может стать просто-таки чудовищной, а лишенная воображения натура, если не попытаться ее пробудить, может окаменеть до полной бесчувственности. И хотя тело человека живет, как и прежде, то есть он продолжает и есть, и пить, и предаваться наслаждениям, душа его, чьим вместилищем служит тело, умирает, как душа Бранки д'Орья<sup>75</sup> в «Божественной комедии» Данте.

Видимо, мое письмо было как нельзя более своевременным. Насколько я могу судить, оно поразило тебя словно гром среди ясного неба. В своем ответе Робби ты пишешь, что оно «лишило тебя дара мысли и речи». Очевидно, так оно и было, потому что ты ничего лучшего не придумал, как в письме к своей матери пожаловаться на меня.

Ну а она в своей извечной и пагубной для обоих вас слепоте к тому, что для тебя хорошо, а что плохо, стала, разумеется, утешать тебя, как могла, но в результате ее стараний ты был повергнут в еще более подавленное и безутешное состояние.

Что же касается моей особы, то твоя матушка дала моим друзьям знать, что «ужасно рассержена на меня» из-за моих резких высказываний о тебе. Собственно, она говорила об этом не только моим друзьям, но и тем – а их, как ты прекрасно знаешь, во сто крат больше, – кого никак нельзя считать таковыми. Через близкие тебе и твоему семейству источники мне стало известно, что ее усилия были далеко не напрасны: я полностью потерял то сочувствие, которое вызывал обрушившимися на меня испытаниями у тех, кто восхищался моим литературным талантом. Люди стали говорить примерно так: «Ну вот, сначала он хотел засадить в тюрьму любящего отца, а когда ему это не удалось, он берет и вымещает свою злость на ни в чем не повинном сыне! Что ж, выходит, мы не напрасно презирали его! Он полностью заслужил свою участь!»

Казалось бы, что если уж твоя мать при упоминании моего имени не испытывает ни сожаления, ни раскаяния по поводу той активной роли, которую она сыграла в уничтожении моего домашнего очага, то у нее должно было бы достать приличия помолчать хотя бы уж в данном

---

<sup>75</sup> Бранка д'Орья – о муках этого знатного генуэзца рассказывается в тридцать третьей песне Дантова «Ада». Бранка д'Орья убил на пиру своего тестя, Микеле Цанке, за что и попал в ад. Более того, в его тело вселился дьявол.

случае.

Ну а что касается того, как повел себя в этой ситуации ты, то не лучше ли было бы для тебя самого, если бы ты не жаловался на меня своей матери, а написал бы непосредственно мне? Неужели тебе не хватило храбрости высказать мне все то, что у тебя накопилось тогда на душе? Скоро уже год, как я отослал то письмо. Вряд ли ты все это время был «лишен дара мысли и речи». Почему же все-таки ты не написал мне? Ведь ты прекрасно видел по моему письму, как глубоко я был ранен и взбешен твоим поведением.

Более того, наконец-то твоя дружба со мной предстала перед тобой в ее истинном свете, без каких-либо приукрашиваний и недомолвок. В былые дни я часто говорил тебе, что ты губишь мою жизнь, но ты всегда смеялся в ответ. Еще на самой заре нашей дружбы Эдвин Леви<sup>76</sup> – тот самый, к кому мы обратились за советом и помощью, когда с тобой в Оксфорде случился уже не раз упомянутый мной неприятный инцидент, – был немало поражен тем, что в этой критической для тебя ситуации ты, вместо того чтобы испытывать ко мне благодарность за поддержку и понесенные мной денежные расходы, старался подставить меня под главный удар и вел себя крайне вызывающим и возмутительным образом. Он целый час уговаривал меня по-рвать с тобой всяческие отношения.

Но когда я рассказал тебе – уже в Брэкнелле – об этом долгом и произведшем на меня глубокое впечатление разговоре, ты разразился презрительным смехом. А когда я добавил, что тот несчастный молодой человек,<sup>77</sup> который впоследствии сел вместе со мной на скамью подсудимых, тоже предупреждал меня – причем не один раз, – что ты намного опаснее всех тех простых ребят, с которыми я по легкомыслию водил в то время знакомство, и что ты рано или поздно доведешь меня до катастрофы, ты вновь засмеялся, но уже не так весело.

Когда мои слишком благоразумные или недостаточно преданные приятели предостерегали меня против дружбы с тобой или прекращали со мной из-за нее отношения, ты снова-таки смеялся, на этот раз с презрением. Ты просто-таки умирал со смеху, когда я сказал тебе – после того как ты получил от своего отца первое из серии писем, содержащих оскорбления в мой адрес, – что мне, по мере разрастания вашей с ним чудовищной ссоры, предстоит, по всей видимости, стать орудием в его и твоих руках и что кончится это для меня крайне плачевно.

Так ведь и получилось – особенно что касается ужасающих для меня последствий, хотя ты и не смог до конца осознать, чем все это для меня обернулось.

Почему же ты мне не писал? Что мешало тебе? Трусость? Бессердечие? Что именно?

Зная по моему письму к Робби, насколько я возмущен твоим поведением, ты тем более должен был мне написать. Если ты признавал упреки в свой адрес справедливыми, ты должен был дать мне об этом знать. Если же ты считал, что я хоть в чем-то не прав, ты все равно должен был сообщить мне об этом. Я ждал твоего письма. Я был уверен, что даже в том случае, если для тебя уже ничего не значат ни прежняя ко мне привязанность, ни любовь, о которой ты так часто мне заявлял, ни тысячи добрых дел, которые я для тебя совершил и которые ты никогда не умел ценить, ни тысячи долгов благодарности, которых ты мне так и не отплатил, – так вот, я был уверен, что даже в этом случае ты напишешь мне хотя бы из чувства обязанности, самого холодного из всех чувств, которые могут связывать двух человек.

Ты ведь не станешь утверждать, что серьезно поверил тому, будто мне запретили получать какие бы то ни были письма, кроме тех писем от моих близких родственников, что касаются семейных дел. Ты отлично знал, что каждые двенадцать недель Робби посылает мне краткий обзор литературных новостей.

---

<sup>76</sup> Эдвин Леви – по предположениям некоторых английских литературоведов, Эдвин Леви – частный детектив; по мнению других – ростовщик, у которого Уайльд взял под проценты деньги, чтобы помочь Альфреду Дугласу выпутаться из неприятностей.

<sup>77</sup> Уайльд имеет в виду Альфреда Тейлора, попавшего на скамью подсудимых по обвинению в гомосексуальных связях с несколькими юношами, но не давшего на суде показаний против Уайльда. Возможно, именно с Тейлором и был связан тот неприятный инцидент, в который оказался впутанным Дуглас и в связи с которым он обратился за помощью к Уайльду.

Трудно себе представить что-либо более очаровательное, чем его письма: они полны остроумия, пронизательных и метких суждений, непринужденного изящества; они настоящий образец эпистолярного искусства.

Когда их читаешь, кажется, что слышишь голос хорошего, умного друга. Они обладают тем удивительным свойством, которое позволяет назвать их *causerie intime*,<sup>78</sup> как говорят французы. До чего же тонко выражает Робби свое уважение ко мне, вызывая то к моему мнению, то к моему чувству юмора, то к моему инстинктивному ощущению красоты, то к моей эрудиции! Как он умеет сотней деликатнейших способов напомнить мне, что некогда я для многих был законодателем, а для некоторых и высшим авторитетом в области Искусства и Стиля! Какой безупречный вкус в литературе и какой замечательный такт в дружбе он проявляет!

Его письма прибывают ко мне, словно маленькие посланцы того прекрасного, нереального, феерического мира Искусства, где я некогда был Королем и где правил бы до сих пор, если бы не дал заманить себя в реальный, несовершенный мир грубых, неудовлетворенных страстей, неразборчивых вкусов, неистощимых желаний и безграничной алчности.

Несмотря на все сказанное, должен признаться тебе (думаю, ты и сам мог бы догадаться до этого), что получить от тебя хоть какую-то весточку – даже из чистого и вполне оправданного любопытства – было бы для меня гораздо важнее и интереснее, чем узнать, что Альфред Остин<sup>79</sup> собирается выпустить очередной томик стихов, или что Джордж Стрит<sup>80</sup> продолжает писать театральные рецензии для «Дейли кроникл», или что устами того, кто не в состоянии без заикания произнести панегирик в чей-либо адрес, миссис Мейнелл<sup>81</sup> была провозглашена будущей сивиллой<sup>82</sup> поэтического стиля.

Если бы в тюрьме оказался не я, а ты (но, конечно, не по моей вине – одна только мысль об этом наводит на меня ужас, – а по собственной оплошности, например из-за обманутого доверия к недостойному другу или из-за того, что, оступившись, ты погряз в трясине низких страстей, или доверился кому не следует, либо полюбил того, кто недостойн любви, – словом, по какой угодно причине или вообще без причин), то неужели ты думаешь, что я дал бы тебе чахнуть во мраке и одиночестве, не попытавшись хоть как-нибудь, пусть даже на самую малость, разделить с тобой горькое бремя твоего бесчестья?

Неужели ты думаешь, что, узнав о твоих страданиях, я не страдал бы вместе с тобой, а узнав, что ты плачешь, не проливал бы слез вместе с тобой? Если б ты томился в темнице, заклеянный людским презрением, я воздвиг бы из своей печали дом, чтобы ждать в нем твоего возвращения, я возвел бы из своей скорби сокровищницу, чтобы все, в чем тебе было отказано людьми, но стократно умноженное, хранилось бы в ней для твоего исцеления.

Если б какие-то невероятные причины или необходимость соблюдать осторожность (что было бы в моем случае даже еще более невероятно) лишили бы меня возможности находиться рядом с тобой и видеть тебя, пусть даже за железной решеткой и в неприглядном обличье, то уж во всяком случае я писал бы тебе, писал бы постоянно и ни с чем не считаясь, в надежде, что хотя бы одна фраза, одно-единственное слово, один-единственный отголосок Любви достигнет тебя.

Если бы ты даже не хотел получать от меня писем, я все равно писал бы тебе – хотя бы для того, чтобы ты знал, что у тебя есть эти письма и они ждут тебя. В моем случае так оно и выхо-

<sup>78</sup> *Causerie intime* – душевная беседа(фр.).

<sup>79</sup> Альфред Остин (1835–1913) – английский поэт, выпустивший в период с 1871 по 1908 гг. двадцать томов своих поэтических произведений, не отличавшихся особыми литературными достоинствами.

<sup>80</sup> Джордж Стрит (1867–1931) – английский журналист и писатель.

<sup>81</sup> Алиса Мейнелл (1847–1922) – английская поэтесса, эссеист и критик. Ее кандидатуру в качестве поэта-лауреата предлагал в письме в газету «Сатердей ревю» поэт и критик Ковентри Пэтмор (1823–1896).

<sup>82</sup> Сивиллы – легендарные женщины-прорицательницы.



дит. Люди мне пишут сюда (или, во всяком случае, имеют такую возможность) не чаще раза в три месяца. Но все эти письма и другие послания администрация тюрьмы оставляет у себя, а я их получу, когда буду выходить отсюда. Да, я не могу их читать, зато знаю, что они меня ждут. Я даже знаю, кто присылает мне письма, и я знаю, что письма эти полны сочувствия, искренней симпатии и доброты. Этого мне достаточно. Ничего больше мне знать не нужно.

Но твое молчание просто невыносимо. И длится оно не недели и даже не месяцы, а целые годы. Эти годы могли бы показаться долгими даже тем, кто, подобно тебе, живет в стремительном вихре удовольствий и едва поспевает за несущимися на золотых ногах днями, с трудом переводя дух в погоне за наслаждениями. Ну а для меня эти годы тянулись так медленно, что казались просто-таки бесконечными.

Твоему молчанию нет и не может быть оправдания. Я всегда знал, что на тебя нельзя положиться, и в этом отношении тебя можно уподобить золотой статуе на глиняных ногах. Кому это было лучше знать, чем мне? Кстати, напому тебе один из когда-то написанных мной афоризмов: «Золотые изваяния блестят ярче, если они стоят на глиняных ногах».<sup>83</sup>

К твоему сведению, я имел в виду именно тебя, когда писал эти слова. Но то, во что ты превратился, нельзя уже, пожалуй, сравнивать даже с золотым изваянием на глиняных ногах. Из черной пыли захолустных дорог, превращенной копытами многочисленных стад в липкую грязь, – вот из чего ты вылепил свое подобие, поместив его перед моими глазами, и теперь, с каким бы прежним теплом мне ни хотелось бы к тебе относиться, я не могу испытывать к тебе ничего, кроме презрения, – да и к себе самому тоже.

И даже если отбросить все другие причины, заставившие меня страдать, вполне достаточно было твоего бессердечия, твоей черствости и так называемой «житейской мудрости», твоего страха скомпрометировать себя (ты можешь называть это как хочешь, а я называю вещи своими именами), чтобы сделать эти страдания вдвое мучительнее в свете тех обстоятельств, которые сопутствовали моему падению или следовали за ним.

Другие пасынки судьбы, когда их бросают в тюрьму, также лишаются радости жить на свободе и наслаждаться красотой внешнего мира, но в то же время они – по крайней мере отчасти – ограждены от этого мира, от его смертоносных пращей и устрашающих стрел. Они сидят затаившись во тьме своих камер, ценой своего бесчестья получив право жить в надежном убежище.

Мир, свершив над ними свой суд, продолжает идти своим путем, а их оставляет страдать в тюремной тиши.

Со мной же все обстояло иначе. Беда за бедой неустанно разыскивали меня и настойчиво стучались в двери моей тюрьмы, которые тут же перед ними широко раскрывались. И если друзьям моим почти никогда не разрешалось повидаться со мной, то враги мои всегда имели ко мне свободный доступ.

Дважды вызывали меня в Суд по делам о несостоятельности; дважды переводили меня из одной в другую тюрьму, и каждый раз я испытывал невыразимое унижение, будучи выставлен на посмешище перед глазеющей публикой. Посланник Смерти принес мне трагическое известие и отправился дальше своей скорбной дорогой, а я в полном одиночестве, вдали от всех тех, кто мог бы меня утешить и облегчить мое горе, нес непосильное бремя отчаяния и раскаяния, терзающих меня при воспоминании о моей матери, и это бремя я несу до сих пор. Но как раз тогда, когда времени удалось немного притупить боль утраты – хотя рана все еще оставалась открытой, – я начал получать от жены резкие, горькие, жестокие письма, посылавшиеся ею через своих поверенных.

Передо мной, издевательски подмигивая, встала во весь рост угроза сделаться нищим. Это

---

<sup>83</sup> «Портрет Дориана Грея», глава XV. Очевидно, Уайльд построил свой афоризм на библейской истории об огромном истукане с головой из чистого золота, грудью и руками из серебра, чревом и бедрами из меди и ногами частью железными, частью глиняными. Когда сорвался с горы камень, он ударил в истукана, разбил его, и тогда железо, глина, медь, серебро и золото рассыпались в прах, и ветер унес их, и следа не осталось от них (Ветхий Завет, Книга Пророка Даниила, II, 31–35).

я еще мог бы вынести (я готов был и к худшим лишениям), но, когда по решению суда у меня отняли обоих моих сыновей, я почувствовал такое бесконечное горе, такую острую боль, такое безысходное отчаяние, от которых мне уже никогда не оправиться. То, что суд взял на себя право решать, позволить или не позволить мне общаться со своими собственными детьми, – это просто чудовищно. Позор тюремного заключения по сравнению с этим – ничто.

Я завидую всем другим моим товарищам по несчастью, с кем я выхожу на прогулку по тюремному двору. Я уверен, что сыновья и дочери ждут не дождутся их дома, чтобы радостно броситься им навстречу.

Бедняки мудрее, милосерднее, отзывчивее и добрее нас. В их глазах тюрьма – трагедия в жизни человека, огромное горе, страшная катастрофа, нечто такое, что достойно горячего сочувствия ближних. О том, кто оказался в тюрьме, они говорят только так: с ним «приключилась беда», и в этом выражении заключена вся совершенная мудрость Любви.

У людей же нашего сословия отношение к заключенным совершенно иное. В их глазах человек, попавший в тюрьму, становится парией. Такие, как я, не имеют право дышать и вообще занимать место под солнцем. Наше присутствие омрачает радость существования для других. Когда нас выпускают на волю, мы повсюду – нежеланные гости. Нам больше не позволено любоваться бликами луны по ночам. Даже детей у нас отбирают. Наши связи с остальным человечеством – самое прекрасное, что у нас было, – оказываются напрочь разорванными. Мы обречены на одиночество, хотя у нас и есть сыновья. Нам отказано в том единственном, что могло бы исцелить и поддержать нас, умиротворить наши изболевшиеся души, явиться чудодейственным бальзамом для наших истерзанных сердец.

Ко всему этому добавилось то обстоятельство (для тебя пустяковое, а для меня крайне важное), что своими поступками и своим молчанием, своими действиями и своим бездействием ты омрачал буквально каждый день моего и без того малорадостного и кажущегося бесконечным заточения. Даже хлеб и вода – основа моего тюремного пайка – потеряли свой вкус по твоей милости. Хлеб казался мне горьким, а вода – солоноватой и затхлой.

Ты только удвоил то горе, которое должен был бы разделить со мной; ты лишь обострил ту боль, которую должен был бы облегчить своим участием. Я знаю, ты этого не хотел. Я абсолютно уверен, что ты этого не хотел. Все объясняется, как я уже писал, «поистине роковым пороком твоего характера – полнейшим отсутствием воображения».

В конце концов мне придется простить тебя. Я просто вынужден буду простить тебя. Это письмо я пишу вовсе не для того, чтобы вселить в твое сердце горечь, а чтобы искоренить ее из своего сердца. Я должен буду простить тебя ради себя самого. Человек не может вечно согревать на своей груди змею, которая жалит его. Он не может вставать еженощно и сеять тернии в саду души своей. Мне будет нетрудно простить тебя, если ты мне хоть немного поможешь. Как бы ты ни поступал со мной в прежние времена, я всегда прощал тебя легко и с готовностью. Но тогда это тебе не пошло на пользу. Только тот, чья жизнь ничем не запятнана, может с легкостью прощать прегрешения другим людям.

В данную же минуту, когда я сижу в заточении, униженный и обесчещенный, я не могу себя считать таковым. Поэтому мое прощение должно значить для тебя очень много. Когда-нибудь ты это поймешь. Но когда бы ты это ни понял – сейчас или позже, в скором времени или вообще никогда, – мое решение останется неизменным.

Я не могу допустить, чтобы ты прошел через жизнь, неся в своем сердце тяжкое бремя сознания, что ты погубил такого человека, как я. Мысль об этом или сделает тебя еще более бессердечным, или заставит тебя ужасно страдать.

Я должен снять с тебя это бремя и переложить его на свои плечи. Я должен до конца уяснить для себя, что ни ты, ни твой отец, будь вас хоть тысячи, не смогли бы погубить такого человека, как я, если бы я сам не погубил себя, и что никто, будь он велик или ничтожен, не может быть погублен ничьей рукой, кроме своей. Я готов принять всю вину на себя. Я пытаюсь сделать это уже и в настоящем письме, хотя, возможно, ты этого и не заметил. Но даже если я и выдвигаю против тебя столь суровые обвинения, подумай, насколько беспощаднее я осуждаю самого себя. Как бы ужасно ни поступил ты со мной, то, как я поступил с собой сам, еще ужаснее.

Я был и остаюсь своего рода символом искусства и культуры нашего времени. Сам я осознал это еще на заре своей юности, а впоследствии заставил осознать это и своих современников. Немногие достигали при жизни такого положения в искусстве и такого признания, как я. Обычно историкам или критикам удается распознать гения – если вообще удастся – спустя много десятилетий после того, как и он сам, и его время уходят в вечность. Мой удел был иным.

Я это чувствовал сам и сумел дать почувствовать это другим. Байрон тоже был символической фигурой, но он отразил в своем творчестве лишь страсти своего века и пресыщение ими. Я же символизирую нечто более возвышенное, более непреходящее и вместе с тем более актуальное и всеобъемлющее.

Боги дали мне многое – и талант, и респектабельное имя, и высокое положение в обществе, и блеск ума, и интеллектуальную дерзость. Я сделал искусство философией, а философию – искусством; я изменил у людей взгляды на многие вещи, придав им новые цвета; все, что я говорил или делал, повергало людей в изумление; я взял драму, самый неличный из жанров литературы, и превратил ее в столь же личное средство выражения, как лирическое стихотворение или сонет, одновременно расширив сферу действия драмы и обогатив ее новым психологизмом в характеристике персонажей; к чему бы я ни прикасался, будь то драма, роман, рифмованная поэзия, стихотворение в прозе, утонченная игра слов или парадоксальные диалоги, – все это облагораживалось неведомой дотоле красотой; в непререкаемых истинах я отмежевал подлинно истинное от ложного и в то же время показал, что как истинное, так и ложное – это всего лишь условные представления об окружающем нас мире, порожденные нашим разумом.

Искусство для меня всегда являлось высшей формой реальности, а реальность – высшей формой художественного вымысла; я настолько пробудил воображение своих современников, что даже мое имя они окружили мифами и легендами; суть всех систем мышления я свел к одной фразе, а смысл всего сущего – к лаконичной сентенции.

Но наряду с этим было во мне и много чего другого. Под влиянием приятелей я мог подолгу предаваться бесчувственной расслабленности и чувственным наслаждениям.

Меня тешило то, что я слыл фланером, денди, законодателем мод. Я окружал себя людьми ничтожными, пустыми и недалекими. Я попусту расточал свой талант и с какой-то бесшабашной веселостью прожигал свои юные годы.

Когда мне надоедали вершины, я в поисках новых ощущений спускался в самые бездны. Аномалии в сфере страсти стали для меня тем же, чем были парадоксы в сфере мысли. Желания мои сделались болезненными или безумными, а скорее, и теми и другими одновременно. Я стал пренебрежительно относиться к жизни других людей. Я срывал наслаждения, как только возникало желание, и безмятежно следовал дальше. Я вовсе не думал о том, что любой, даже самый маловажный, самый незначительный поступок формирует или, напротив, разрушает наш характер, а поэтому все, что мы творим в потаенных покоях наших жилищ, рано или поздно становится явным. Я полностью утратил власть над собой. Я уже не был Властелином своей Души, хоть и не ведал об этом, а потому и позволил тебе завладеть ею, а твоему отцу – запугать меня.

Закончилось это чудовищным для меня бесчестьем, и отныне мне остается только одно – полное Смирение. Я взываю к тебе: приди и повергнись в прах бок о бок со мной, чтобы мы оба научились Смирению.

Вот уже почти два года, как я томлюсь в заточении. Что только ни терзало мне душу за эти долгие месяцы – и неистовое отчаяние, и безутешное горе, и ужасная, бессильная ярость, и горечь, смешанная с презрением, и рыдающая во весь голос боль, и не находившая слов обида, и безгласная скорбь. Я прошел через все мыслимые и немыслимые страдания, и теперь лучше самого Вордсворта понимаю, что значат написанные им строки:

Страданье черное для нас непостижимо –  
Оно столь грозно, столь неотвратимо  
И бесконечно по своей природе.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Не совсем точная цитата из драмы в стихах «Жители пограничья» (перевод цитируемых строк В. Чухно).

Я еще могу примириться с мыслью, что моим страданиям не будет конца, но мне невыносимо думать о том, что они лишены всякого смысла. В глубине моей души таится твердое убеждение: да, в этом мире многое непостижимо, но в нем не может быть ничего бессмысленного, а уж страдания бессмысленными тем более не назовешь. Именно это убеждение, таящееся в неведомых глубинах моей души, словно клад в недрах земли, и зовется Смирением.

Да, Смирение – это единственное, что мне теперь остается; в нем я вижу идеальный для себя выход. Это крайне важное для меня открытие, своего рода отправная точка, с которой я могу начать все сначала.

Мысль о Смирении пришла ко мне исподволь, созрев где-то в недрах сознания, и поэтому я знаю, что она пришла вовремя. Она не могла прийти ни раньше, ни позже, а только теперь. Если бы кто-то другой пытался внушить мне ее, я бы ее отверг. Если бы мне принесли ее готовой на блюдечке, я бы не принял ее. Но мысль о смирении родилась у меня самого, стала моей собственной, и я уже не могу от нее отказаться. В смирении и только в смирении я вижу надежду на жизнь, на новую жизнь, на мою *Vita Nuova*.<sup>85</sup> Смирение – самая странная штука на свете. Мы никогда не можем навязать его кому-то другому, и никто не может навязать его нам, а чтобы самим прийти к нему, мы должны потерять все, что имеем. Только лишившись абсолютно всего на свете, мы почувствуем, что приобрели Смирение.

И вот теперь, когда в душе моей воцарилось смирение, я знаю наконец, что мне делать, – более того, я должен буду это сделать. Говоря «должен», я, разумеется, не имею в виду, что вынужден это делать по чьей-то команде или чьему-либо разрешению. Вовсе нет. Я стал еще более законченным индивидуалистом, чем когда-либо в прошлом. Для меня имеет значение только то, что исходит от меня самого. Мое «я» ищет новых способов самовыражения – только это меня сейчас и волнует. И первое, что мне нужно сделать, – это отбросить любые чувства горечи и обиды, накопившиеся в моей душе против тебя.

У меня нет ни гроша за душой, у меня нет крыши над головой, но на свете бывают вещи и намного похуже. Поверь мне, я абсолютно искренен, когда говорю, что пусть уж лучше я буду попрошайничать, ходя от порога к порогу, чем покину тюрьму с чувством горечи и обиды на тебя и весь мир.

Даже если в домах богачей я и не получу ничего, бедные мне всегда подадут. Ведь чем человек богаче, тем он скупей, а чем он беднее, тем он щедрей. Лучше уж спать в росистой, холодной траве под открытым небом, а зимой искать убежища в теплых глубинах стога или укрываться от непогоды под навесом амбара, чем жить без любви в сердце.

Все внешнее в этой жизни утратило для меня значение. Вот видишь, до какого индивидуализма я дожил, хотя и это далеко не предел: мне предстоит еще долгий путь, и такой уж мне выпал удел – «где бы я ни шел, всюду меня ждут одни лишь тернии».<sup>86</sup>

Разумеется, я не собираюсь просить милостыню на больших дорогах, ну а если уж мне и случится лежать ночью в росистой, холодной траве, то скорее всего только затем, чтобы слагать сонеты в честь ночного светила.

Когда меня выпустят из тюрьмы, за тяжелыми железными воротами меня будет ждать Робби, и я восприму это не только как свидетельство его личной привязанности, но и как символ любви, которую питают ко мне столь многие, помимо него.

Насколько я могу судить, тех денег, что у меня остались, должно хватить мне на жизнь по крайней мере года на полтора, так что если я даже и не смогу писать прекрасные книги, то читать их, во всяком случае, я уж точно смогу, а есть ли радость выше, чем эта? Хотя со временем, надеюсь, я сумею возродить в себе и свой творческий дар.

Но если моя дальнейшая жизнь сложится иным образом, если окажется, что на всем белом свете у меня не осталось ни единого друга, если никто не будет пускать меня, хотя бы из жало-

<sup>85</sup> Уайльд имеет в виду автобиографическую повесть Данте «Новая жизнь».

<sup>86</sup> Уайльд приводит цитату из своей пьесы «Женщина, не стоящая внимания».



сти, на порог своего дома, если я окажусь на улице в жалком рубище, с нищенской сумой через плечо, — даже в этом случае, коль скоро сердце мое останется свободным от презрения, обид, ожесточения и негодования, я буду чувствовать себя намного спокойнее и увереннее, чем если бы мое тело было облечено в пурпур и тончайшее полотно, но душа моя была бы опустошена ненавистью. Мне будет совсем нетрудно простить тебя. Но чтобы это доставило мне настоящую радость, ты должен почувствовать, что тебе действительно нужно прощение. Когда ты увидишь, что по-настоящему нуждаешься в нем, ты получишь его.

Едва ли нужно говорить, что миссия моя на этом отнюдь не закончится. Это было бы слишком просто. Меня ждут еще многие трудности. Мне предстоит взобраться на куда более обрывистые кручи и пройти через куда более сумрачные ущелья. Мне необходимо будет очистить душу от накопившейся скверны. Но ни Религия, ни Мораль, ни Разум не помогут мне.

Чем мне может помочь мораль? Я ведь состою из сплошных противоречий и парадоксов. Я один из тех, кто создан для исключений, а не для правил. Нет ничего страшного в том, что человек совершает плохие поступки; гораздо страшнее то, что при этом он сам становится хуже. Я рад, что наконец это понял.

Религия тоже мне не поможет. Пусть другие и верят в нечто невидимое, я же верю лишь в то, что можно потрогать своими руками и увидеть своими глазами. Мои боги обитают в одних только рукотворных храмах, и мои верования и убеждения находят совершенное и полное воплощение только в пределах моего собственного жизненного опыта — может быть, даже слишком полное воплощение, потому что, подобно тем многим, для кого Эдем существует только здесь, на земле, я нахожу в своей жизни не одни лишь прелести Рая, но и все ужасы Ада.

Всякий раз, когда я размышляю о религии, у меня возникает желание основать особый орден для тех, кто так и не смог уверовать. Его можно было бы назвать Братством Безбожников. Обряды у них совершал бы священник, в чьем сердце никогда не было умиротворения, и службу свою он чинил бы перед алтарем, на котором не горело бы ни одной свечи. Новообращенные у них причащались бы хлебом, не освященным благословением Божиим; в руке они держали бы чашу, не содержащую ни единой капли вина.

Как это ни парадоксально, но, чтобы восприниматься как истина, все в нашей жизни должно приобретать религиозную форму. В этом смысле у неверия, как и у веры, есть свои собственные обряды и свои собственные мученики, из которых неверующие сотворили себе своих святых. Они ежедневно воздают хвалу Богу за то, что Он скрывает от человека свой лик. Но в любом случае, будь то атеизм или вера, ни то ни другое не должно мне навязываться со стороны. Символы своей веры или безверия я должен сотворить сам.

По-настоящему духовным может считаться лишь то, что имеет свою собственную, ни на что не похожую форму, и если я не сумею распознать эту духовную сущность в глубинах своей души, то разгадать ее тайну иным образом я не смогу. И если я не увидел ее до сих пор, значит, во мне ее нет и уже никогда не будет.

Разум? Он тоже мне не поможет. Он говорит мне, что законы, по которым я осужден, и система, подвергшая меня таким страданиям, крайне несовершенны и несправедливы. В то же время, вопреки всякой логике, я вынужден заставлять себя верить, что наказан по закону и справедливости.

В Искусстве художник воспринимает тот или иной предмет либо явление такими, какими они представляются ему в тот момент, когда он с ними сталкивается. Точно то же можно сказать и о психологической эволюции характера человека, постоянно вынужденного принаравливаться к имеющимся в его жизни в данный момент реалиям. Я заставляю себя смотреть на то, что произошло со мной, как на своего рода благо.

Жесткие дощатые нары; тошнотворная тюремная пища; грубые канаты, из которых приходится щипать паклю, пока кончики пальцев не немеют от боли; разного рода унижительные обязанности, с которых начинается и которыми заканчивается каждый день; резкие, как лай, команды, принятые здесь в обращении с заключенными; чудовищное одеяние, а вернее, шутовской наряд, в который здесь облачают страдание; царящая в тюрьме тоскливая тишина; постоянно испытываемое жуткое одиночество и унижительное чувство позора — все это, взятое вместе или в

отдельности, я стараюсь воспринимать как нечто, обогащающее мой духовный опыт. Любые телесные испытания, выпадающие в заключении на мою долю, я пытаюсь трансформировать в переживания, возвышающие мою душу.

Мне хотелось бы достигнуть такого душевного состояния, которое позволило бы мне искренне, без всякой аффектации сказать, что в моей жизни было два величайших поворотных пункта: когда мой отец отправил меня в Оксфорд и когда общество отправило меня в тюрьму.

Я, конечно, не стану утверждать, что тюрьма – лучшее из того, что могло случиться со мной, ибо такое утверждение звучало бы чересчур саркастически и по сути являлось бы выражением жалости по отношению к своей особе. Я скорее сказал бы о себе – а еще лучше, услышал бы от других, – что я настолько типичное дитя своего века, что из противоестественного стремления нанести себе вред обратил все доброе в своей жизни во зло, а все дурное – в добро.

Но что бы там ни говорили и я сам, и другие, – все это для меня не так уж и важно. Гораздо важнее созревшее во мне понимание того, что для того, чтобы до конца дней своих (а их осталось не так уж и много) я не чувствовал себя оклеветанным, душевно травмированным и духовно ущербным, мне предстоит сделать очень важную вещь, а именно: я должен осознать, что произошедшее со мной было абсолютно неизбежным; я должен сделать эту трагедию неотъемлемой частью своего существа, принять ее без сожалений, без страха, без попыток оправдать себя.

Самое ужасное в человеке – это неумение или нежелание взглянуть правде в глаза. Все, что произошло со мной, должно было произойти.

Когда меня посадили в тюрьму, некоторые советовали мне постараться забыть, кто я такой. В высшей степени губительный для человека совет. Только сумев осознать, кто я на самом деле, только сумев разобраться в самом себе, я нашел хоть какое-то утешение.

И вот теперь уже другие советуют мне постараться забыть – после того как меня выпустят на свободу, – что я вообще когда-либо переступал порог тюрьмы. Уверен, что это было бы для меня столь же губительно. Это означало бы, что в будущем меня постоянно преследовало бы невыносимое чувство вины и что все, чем я так дорожу – и величие луны и солнца, и роскошное шествие времен года, и симфония рассвета, и величавая тишина ночей, и дождь, шелестящий в листве, и роса, выступающая на траве и превращающая ее в серебро, – все это потеряло бы для меня свое очарование, лишилось бы своей волшебной целительной силы и способности приносить радость.

Отказаться от своего прошлого – значит закрыть себе путь в будущее. Отрицать то, что пережил, – значит лгать самому себе о своей собственной жизни. Это все равно что отречься от своей Души. На физическое формирование человека влияют разного рода факторы: материальные и нематериальные, низменные и возвышенные, уродливые и прекрасные, но в результате, под их общим воздействием, его тело приобретает поразительную ловкость и силу, скульптурную красоту плоти и величие упругих мышц, пленительные изгибы линий и чарующее сочетание цвета губ, глаз и волос.

Точно так же и Душа человека, впитывая в себя все то, что само по себе вульгарно, низменно и жестоко, может трансформировать это в благороднейшие помышления и высокие страсти, – более того, может находить во всем этом величественнейшие формы самоутверждения и проявлять свои самые святые стороны как раз через посредство того, что призвано было осквернить или разрушить ее.

Мне наконец-то нужно смириться с тем фактом, что я самый обыкновенный узник в самой обыкновенной тюрьме, но научиться не стыдиться этого оказалось, как ни странно, труднее всего.

В принципе я должен был бы воспринимать тюремное заключение как наказание, но, если мне стыдно, что меня наказали, значит, наказание не пошло мне на пользу. Конечно, во многом из того, за что меня отправили в тюрьму, я не повинен, но, с другой стороны, многие поступки, за которые меня осудили, я действительно совершил, а ведь в моей жизни было еще и немало такого, за что меня никогда не привлекали к ответственности. В этой связи невольно приходит на ум высказанная мною в этом письме сентенция на тот счет, что боги непостижимы и поступки их странны, ибо они карают нас как за то, что в нас нехорошего и недоброго, так и за то, что в

нас хорошего и доброго. И в самом деле: общество наказывает человека и за его злые, и за добрые деяния. Впрочем, я убежден, что так оно и должно быть. Это помогает человеку – во всяком случае должно помогать – определить для себя, что такое добро и зло, и в то же время умиряет его гордыню.

Если я научусь не стыдиться своего наказания – а я надеюсь на это, – то смогу мыслить, держать себя и жить как человек свободный.

Многие, выходя на свободу, уносят вместе с собой тюрьму, прячут ее в своих сердцах, как тайный позор, и в конце концов, подобно несчастному, смертельно раненному зверьку, заползают в какую-нибудь потаенную нору и тихо там умирают. До чего ужасно, что их к этому вынуждают! До чего несправедливо со стороны общества заставлять их так поступать!

Общество считает себя вправе подвергать человека чудовищным наказаниям, хотя само страдает величайшими из пороков – мелочностью, ограниченностью и поверхностностью, – а стало быть, не ведает, что творит.

Когда срок наказания осужденного истекает, общество предоставляет его самому себе, то есть, по сути, бросает его на произвол судьбы как раз в тот момент, когда должно было бы приступить к исполнению своего высочайшего перед ним долга. А почему оно так поступает, нетрудно понять: оно стыдится своих деяний и избегает тех, кого покарало, подобно тому как мы избегаем кредитора, которому не в состоянии уплатить, или шарахаемся от того, кому причинили непоправимое зло.

Что касается лично меня, то я хотел бы от общества одного: если уж я осознал все то, за что выстрадал, то и оно должно осознать, какое мне зло причинило, и тогда ни с той, ни с другой стороны не останется ни ненависти, ни обид.

Конечно, я понимаю, что в некоторых отношениях мне будет намного труднее, чем остальным, но я понимаю также, что так оно и должно быть, ибо в этом и состоит мое наказание. Всем этим жалким воришкам и всякого рода отщепенцам, сидящим вместе со мной, во многом повезло гораздо больше, чем мне. Круг людей, обитающих в каком-нибудь заштатном городишке или в крошечном селении меж зеленых полей и ставших свидетелями их прегрешений, совсем невелик, и, чтобы оказаться среди тех, кто даже не подозревает об их деяниях, им достаточно удалиться от места преступления не дальше, чем на то расстояние, что успевает пролететь птица между предзакатными сумерками и рассветом.

Для меня же «весь мир – шириною в ладонь»,<sup>87</sup> и, в какую бы сторону я ни бросил свой взгляд, всюду я вижу свое имя, высеченное на камне. Но не скандальная, хоть и мимолетная шумиха вокруг моего преступления сделала меня знаменитым, о нет! Просто мое имя перешло из своего рода бесконечности славы в некую бесконечность бесславия, и порою мне кажется, что я сумел доказать – если, конечно, это вообще нужно было доказывать, – что между почестями и бесчестьем всего один шаг, а может быть, и того меньше.

И все же именно в том обстоятельстве, что люди будут узнавать меня всюду, где я только ни появлюсь, и что моя жизнь (во всяком случае, ее безрассудства) снова станет открытой книгой для всех, я вижу и свою положительную сторону. Это заставит меня заново утверждать себя как художника, причем как можно скорее.

Если мне удастся создать хотя бы еще одно прекрасное произведение искусства, я тем самым смогу лишить злословие смертоносного яда, трусость – завуалированного глумления, а презрение – острого жала. И если жизнь окажется для меня не подарком, каковой она была для меня все последние годы, то я тоже не буду слишком большим подарком для жизни. Люди вынуждены будут выработать какое-то ко мне отношение, а значит, вынести приговор и мне и себе.

Ты, надеюсь, и сам понимаешь, что я говорю о людях вообще, а не о какой-то конкретной личности. Я сейчас ни с кем не хотел бы общаться, кроме художников или тех, кто много страдал. Первые из них знают, что такое Прекрасное, а вторые – что такое настоящая Скорбь. Остальные люди меня мало интересуют. От Жизни мне тоже ничего не нужно.

Из всего мною сказанного ты и сам можешь видеть, что для меня сейчас самое главное –

<sup>87</sup> Слегка перефразированная цитата из пьесы Уайльда «Женщина, не стоящая внимания».

это поиски внутренней гармонии в самом себе и созвучия своего «я» со всем миром в целом, и мне представляется в связи с этим, что одна из первых задач, которую я должен решить, – это больше не стыдиться своего наказания. Мне это нужно прежде всего ради собственного совершенствования, ибо я мучительно сознаю, насколько несовершенен.

Кроме того, я должен научиться чувствовать себя счастливым. Когда-то я это умел – или, во всяком случае, считал, что умею, – хотя, конечно, чисто инстинктивно: ведь я по натуре человек жизнерадостный. В то время я наполнял свою жизнь наслаждениями, словно кубок вином, – до самых краев. Ну а сейчас я воспринимаю жизнь совсем с другой стороны, и мне порой даже трудно представить, что такое счастье.

Помню, как в первом семестре в Оксфорде я прочитал в «Ренессансе» Пейтера – книге, которая таким удивительным образом повлияла на мою жизнь, – что Данте помещает в самые глубины Ада тех, кто по своей воле жил в постоянной тоске и печали.

Я пошел в университетскую библиотеку и отыскал в «Божественной комедии» то место, где описывается мертвое болото, на дне которого лежат те, что были так «печальны на воздухе привольном». Эти несчастные неперестанно повторяют, вздыхая:

Tristi fummo  
nell'aer dolce che dal sol s'allegra.<sup>88</sup>

Я, разумеется, знал, что церковь осудила accidia,<sup>89</sup> но чтобы карать за печаль! Даже сама эта мысль казалась мне дикой: только священнику, ничего не ведающему о реальной жизни, могло бы взбрести в голову считать это грехом. Мне было также непонятно, почему это Данте, который сам утверждает, что «печаль воссоединяет нас с Богом»,<sup>90</sup> мог быть настолько жесток к тем, кто проявлял склонность к меланхолии (если, конечно, такие люди и на самом деле существовали). Я и подумать не мог, что когда-нибудь этот «грех» станет и для меня одним из величайших искушений в моей жизни.

Все время, что я был в Уондсвортской тюрьме, я молил Бога о смерти. Это было моим единственным желанием. Но когда, пробыв два месяца в тюремной больнице, я был переведен в Рединг и увидел, что мое телесное здоровье мало-помалу улучшается, я пришел в настоящую ярость и вознамерился, как только меня выпустят из тюрьмы, покончить с собой.

Со временем эта мания оставила меня, и я решил, что не стану уходить из жизни, но облачусь в покровы меланхолии и печали, как монарх в королевские одеяния, перестану до конца своих дней улыбаться, буду превращать каждое жилище, порог которого переступлю, в обитель скорби, заражу своим примером друзей, с тем чтобы они медленно шествовали со мной в печальной процессии, докажу им, что истинный смысл жизни заключается в меланхолии, отравлю их неведомой им раньше тоской, омрачу их жизнь своей собственной болью.

Но теперь мое отношение к жизни стало совсем иным. Я ужаснулся, осознав, насколько эгоистично и бессердечно вел себя по отношению к навещавшим меня друзьям, неизменно встречая их со скорбным выражением лица, так что им приходилось напускать на себя совсем уж траурный вид, чтобы я мог видеть, как глубоко они мне сочувствуют. Ну а в качестве «развлечения» я предлагал им безмолвно разделить со мной заупокойную трапезу и поил их горькими зельями.

Но в конце концов я понял, как для меня важно научиться чувствовать себя радостным и счастливым. Последние два раза, когда ко мне на свидание приезжали друзья, я из кожи вон лез, чтобы казаться веселым, и они не могли не заметить этого. Таким образом я старался хоть как-то выразить им свою признательность за то, что они проделали весь этот путь из Лондона специ-

<sup>88</sup> «Печальны были мы на воздухе привольном, что радуется солнцу в небесах» (перевод В. Чухно).

<sup>89</sup> Accidia – праздность (один из семи смертных грехов) (лат.).

<sup>90</sup> «Божественная комедия», «Чистилище», песнь XXIII.



ально для того, чтобы повидаться со мной. Я понимаю, насколько это ничтожная плата за их доброе ко мне отношение, но в то же время я абсолютно уверен, что это им было необыкновенно приятно.

А в субботу на прошлой неделе у меня побывал Робби, и тот час, что мы провели вместе, я делал все, чтобы он почувствовал, как я рад – причем совершенно искренне – нашей встрече.

Впервые с начала моего заключения мне сейчас по-настоящему хочется жить, и это лишнее доказательство того, что мысли и взгляды, к которым я пришел за последнее время, и в самом деле верны. В оставшиеся годы жизни мне хотелось бы сделать так много, что, если я умру, не успев осуществить хотя бы малую часть задуманного, это будет настоящей трагедией.

Я вижу новые для себя возможности и в Искусстве и в Жизни, и каждая из них – невиданная ранее грань совершенства. Да, я хочу жить, чтобы иметь возможность исследовать то, что является для меня новым миром. Хочешь знать, о каком новом мире я говорю? Думаю, ты и сам догадаешься. Конечно же это мир, в котором я сейчас живу.

Страдание и то, чему оно меня учит, – вот мой новый мир. Было время, когда я жил ради одних удовольствий. Я всячески избегал страданий и огорчений, какими бы незначительными они ни были. И те и другие были мне ненавистны. Я старался по возможности игнорировать их, видя в них как бы проявление несовершенства нашего мира. Они были чужды моей жизненной системе. Им не было места в моей философии. Моя мать, так хорошо познавшая жизнь во всех ее проявлениях, часто цитировала строки Гете, приведенные – и, я думаю, переведенные – Карлейлем в книге, которую тот подарил ей много лет назад:

Кто никогда не ел свой хлеб в печали  
И кто ночей в слезах не проводил,  
Рассвета горького страхась начала, –  
Не ведал гнева тот Небесных Сил.<sup>91</sup>

Эти строки любила повторять, находясь в изгнании и чувствуя себя безмерно униженной, благородная королева Пруссии,<sup>92</sup> с которой столь жестоко обошелся Наполеон; эти же строки часто приводила мне в назидание мать, особенно в последние годы, когда ее постигло так много несчастий.

Я же отказывался принимать и признавать заключенную в этих строках великую истину, которую я не был в состоянии постигнуть в те годы. Прекрасно помню, как я неоднократно говорил матери, что не желаю есть свой хлеб в печали и не хочу проводить свои ночи в слезах, страхась горького рассвета.

Я тогда с трудом мог представить, что Судьба уготовила мне именно такую участь и что в течение целого года я только и буду делать, что печалиться и стенать, – но так уж, видно, было у меня написано на роду.

И вот в последние несколько месяцев, после невероятных усилий и отчаянной борьбы с самим собой, я наконец научился внимать урокам, сокрытым в самой сердцевине страданий.

Священнослужители и те, кто любит произносить высокопарные изречения, не понимая их смысла, часто говорят, что Страдание – это таинство. На самом же деле оно – откровение. Совершенно неожиданно открываешь для себя то, о чем раньше и думать не мог. Всю историю человечества начинаешь воспринимать по-иному. И то, что видел в Искусстве лишь интуитивно и бессознательно, вдруг предстает перед тобой с предельной, кристальной ясностью.

Теперь я вижу, что Печаль – а она, на мой взгляд, самое возвышенное чувство, которое может испытывать человек, – является, наряду со Страданием, одновременно и темой и критери-

---

<sup>91</sup> Строки из песни Старого Арфиста, персонажа романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера». (Приведенная Уайльдом цитата дана в переводе В. Чухно.)

<sup>92</sup> Имеется в виду королева Пруссии Луиза (1776–1810), супруга короля Фридриха Вильгельма III, которого она побудила объявить Наполеону войну. В 1806 г. Пруссия потерпела в этой войне поражение.

ем по-настоящему великого Искусства.

Художник всегда ищет в жизни те ее проявления, в которых душа и тело едины и нерасторжимы и в которых внешнее является выражением внутреннего, а форма раскрывает содержание. Подобных явлений мы встречаем достаточно много, и в качестве примера я в первую очередь назвал бы такой феномен, как юность и посвященные ей произведения искусства.

Другой прекрасный пример – современная пейзажная живопись. Она столь тонко передает всю изысканность чувств, навеваемых на нас природой, столь проникновенно и ненавязчиво отображает душу, обитающую во всех окружающих нас предметах независимо от их внешней формы (в земле и воздухе, городе и тумане, цветке и камне), столь остро пробуждает в нас какое-то щемящее чувство, созвучное настроению, колориту и экспрессии полотна, что мы с полным правом можем утверждать: да, современный пейзаж вполне способен передавать в живописной форме то, что древние греки с такой виртуозностью воплощали в своих совершенных скульптурах.

В качестве самого сложного примера, иллюстрирующего мою мысль, я, пожалуй, привел бы музыку, поскольку то, о чем она нам говорит, и язык, который она для этого применяет, слиты в ней воедино, а в качестве самого простого примера назвал бы ребенка или цветок. Ну а высшее проявление Прекрасного как в Жизни, так и в Искусстве – это, безусловно, Стрдание.

За Радостью и Смехом может скрываться натура грубая, черствая и жестокая. Но за Стрданием кроется одно лишь Стрдание. Стрдание, в отличие от Наслаждения, никогда не надевает маску.

Истина в Искусстве проявляется не в преходящем соответствии вечной идеи ее конкретно-му воплощению, не в похожести формы на ее тень и не в сходстве образа с его отражением в кристалле; она – не эхо, долетающее до нас с полых холмов, и не серебристо-зеркальный источник в долине, в который смотрятся, любуясь собой, Луна и Нарцисс.

Истина в Искусстве – это единство внешнего и внутреннего, это нераздельность формы и содержания, это душа, нашедшая свое материальное воплощение, и тело, исполненное духа. Вот почему со Стрданием не сравнится никакая другая истина. Порой мне даже кажется, что Стрдание – единственная абсолютная истина. Иные вещи могут быть обманом зрения или вкуса, иллюзиями, призванными ослаблять первое и притуплять второе, но из Стрдания построены целые миры, и дети, как и звезды, всегда рождаются в муках.

Более того, в Стрдании удивительным образом сосредоточена вся наша жизнь. Я уже говорил в начале письма, что меня считают своего рода символом искусства и культуры нашего времени. Так вот, в этом ужасном месте, где я нахожусь сейчас, среди этих несчастных существ, сидящих вместе со мной, нет ни одного человека, кто не был бы символом какой-нибудь тайной стороны жизни. Ибо тайна жизни – в страдании. Оно таится везде и повсюду.

На заре нашей жизни сладкие минуты кажутся нам столь сладостными, а горькие – столь исполненными горечи, что помимо своей воли мы устремляем наши желания к одним только удовольствиям и мечтаем не «месяц или два вкушать душистый мед»,<sup>93</sup> а всю свою жизнь не знать иной пищи, и нам даже не приходит в голову, что на самом деле мы морим голодом нашу душу.

Помню, как однажды я разговорился об этом с одной из самых прекрасных женщин, каких мне доводилось встречать в своей жизни, – с женщиной,<sup>94</sup> чье сочувствие и огромную ко мне доброту как до, так и после того, как я оказался в тюрьме, я даже описать не могу; с женщиной, которая, как никто другой в целом мире, помогла мне вынести бремя свалившихся на меня несчастий, хотя и сама не подозревала об этом, – помогла хотя бы уже тем, что живет на этой земле и что она такая, какая есть.

<sup>93</sup> Строка из стихотворения Суинберна «Перед расставанием».

<sup>94</sup> Этой женщиной была Аделя Шустер, дочь франкфуртского банкира, одно время жившая в Лондоне. Она не только проявляла к Уайльду сочувствие в трудные для него минуты, но и помогала ему финансово. В 1895 г. она перевела на его счет значительную по тем временам сумму в 1000 фунтов. Среди немногочисленных венков, присланных в день похорон на могилу Уайльда, был и ее венок.

Это идеальная женщина, в обществе которой хочется стать лучше и чище и которая уже одним своим присутствием помогает человеку достигнуть этого. Это благородная душа, рядом с которой легче дышится, рядом с которой самые высокие духовные устремления кажутся столь же естественными, как солнечный свет или морская гладь. Это прекрасная женщина, в восприятии которой Красота и Печаль идут рука об руку, неразрывно связанные друг с другом.

Так вот, когда мы с ней разговаривали, я высказался в том духе, что на долю жителей какого-нибудь глухого лондонского закоулка выпадает слишком уж много страданий, чтобы они поверили в то, будто Господь действительно любит человека, и что любое, даже самое малое горе, переживаемое, например, ребенком, проливающим горькие слезы в глухом уголке сада из-за какого-нибудь ничтожного проступка, ставит под сомнение разумность и красоту мироздания.

Я, конечно, глубоко ошибался, и она мне сказала об этом, но тогда я ей не поверил. Мои взгляды, интересы и убеждения не позволяли мне видеть, как я не прав. Сейчас же мне кажется, что Любовь, и одна лишь Любовь, какого бы рода она ни была, – вот единственное объяснение и оправдание того моря страданий, которым полнится мир. Другого объяснения я не вижу. Более того, я убежден, что другого объяснения и быть не может.

Если, как я уже сказал в этом письме, целые миры и в самом деле были построены из страданий, то опять-таки я убежден, что строили их руки Любви, ибо никаким иным образом Душа человека, для которого и создавались эти миры, не могла бы достигнуть своего полного совершенства. Наслаждения – удел прекрасного тела, страдания – удел прекрасной души. Хотя, конечно, я понимаю, что, когда я заявляю о своей убежденности во всем этом, во мне, скорее всего, говорит гордыня.

Далеко-далеко, подобно волшебной жемчужине, виднеется Град Господень. Он настолько прекрасен, что кажется, будто ребенок, неодолимо влекомый его красотой, может перенестись туда за один летний день. Что ж, наверно, ребенок и может, но не я и такие, как я. Бывает, мелькнет в голове столь блестящая мысль, что кажется, будто никогда ее не забудешь, но потом как-то так получается, что под тяжелую, свинцовую поступь времени незаметно ее упускаешь. Ах, как трудно оставаться на «тех вершинах, что доступны лишь для души полета»!<sup>95</sup>

Мы, смертные, мыслим категориями Вечности, но движемся сквозь конечное Время, хотя оно и кажется нам, узникам, томительно бесконечным. Впрочем, я достаточно говорил об этом, а также о том изнеможении и отчаянии, которые, сколь упорно ни изгоняй их, вновь прокрадываются в наши темницы и в темницы наших сердец, причем с такой неустанной настойчивостью, что приходится к их возвращению приводить в порядок свой дом, словно к приходу незваного, но важного гостя, или вечно недовольного хозяина, или раба, чьим рабом пришлось стать по воле случая или по собственной воле.

Тебе может показаться странным то, что я сейчас собираюсь сказать, но тем не менее это правда. А заключается она в том, что тебе, живущему на свободе, в праздности и комфорте, легче усваивать уроки Смирения, чем мне, хотя я и начинаю каждый свой день с того, что становлюсь на колени и мою пол в своей камере. Ибо тюремная жизнь, со всеми ее лишениями и ограничениями, пробуждает в человеке мятежный дух. Самое страшное в ней не то, что она разбивает сердце – оно нам для того и дано, чтобы его разбивали, – а то, что она обращает его в камень.

Порою кажется, что только полное безразличие да застывшая на губах презрительная улыбка дадут силы пережить еще один день в тюрьме. Ну а на того, кто возмущен душой, не снизойдет благодать Господня, как говорит нам Церковь, – и говорит с полным основанием, добавлю я, потому что и в жизни, и в Искусстве мятежный дух перекрывает каналы души и лишает способности слышать небесную музыку.

И все же, если я хочу научиться Смирению, то где же мне брать уроки, как не здесь, в тюрьме? Я должен быть преисполнен ликования, зная, что я на верном пути и что лик мой обращен в сторону «врат, ведущих в царство Прекрасного», пусть мне даже и предстоит много раз падать в грязь и сбиваться с дороги в тумане.

<sup>95</sup> Строка из стихотворения Вордсворта «Прогулка».

Моя новая жизнь (мне нравится иногда называть ее так из любви к несравненному Данте) – на самом деле, конечно, вовсе не новая жизнь, а просто продолжение, развитие, эволюция моей прежней жизни.

Помню, как однажды я сказал одному из друзей – было это в далекие оксфордские времена, когда чудесным солнечным утром, накануне моих выпускных экзаменов, мы с ним бродили под звуки звонкого птичьего щебета по узеньким дорожкам у стен колледжа Магдалины, – что мне хотелось бы отведать плодов с каждого дерева, растущего в саду, имя которому – весь свет, и что с этой страстью в сердце я и вступаю в широкий мир.

Именно так я и провел свою молодость, именно так я и жил. Но, на свою беду, я ограничивался деревьями лишь с той стороны сада, которая была залита золотом солнца, и избегал другой его стороны, погруженной в темень и мрак. Неудачи, бесчестье, нищета, горе, отчаяние, страдания, слезы, бессвязные слова, срывающиеся с губ от боли, раскаяние, с которым человек продирается через тернии на своем пути, совесть, выносящая ему приговор, самоуничтожение, которым он наказывает себя, несчастье, посыпающее себе голову пеплом, невыносимая мука, облачающаяся во власяницу и подливающая желчь в собственное питье, – все это пугало меня. И как бы ни избегал я срывать эти горькие плоды с деревьев темной стороны сада, пришло время, когда я был вынужден вкушать каждого из них по очереди, был вынужден питаться исключительно ими – и еще долго, мучительно долго иной пищи у меня не было.

Я нисколько не сожалею, что жил ради удовольствий и получал их в полную меру – ведь если уж чему-то отдаваться, то до конца. Нет таких удовольствий, которых я бы не испытал. Я бросил жемчужину своей души в кубок с вином и шел тропой наслаждений под сладостные звуки флейты. Я жил, питаюсь одним только медом. Но бесконечно продолжать такую жизнь я, конечно, не мог – рано или поздно она приедается. Мне нужно было двигаться дальше, меня все больше привлекали неизведанные тайны другой половины сада.

Должен заметить, что уготованная мне судьба была во многом предугадана моими творениями: например, «Счастливым Принцем» или же «Юным Королем», где епископ, обращаясь к коленопреклоненному юноше-королю, говорит: «И не мудрее ли тебя Тот, кто придумал страдание?»

Должен, правда, признаться, что, когда я писал эти слова, они казались мне не более чем просто фразой. Многое из того, что мне предвиделось, нашло отражение в теме Фатума, красной нитью вплетенной в золотую парчу «Дориана Грея» и цветным шитьем пущенной по канве статьи «Критик как художник». В «Душе человека»<sup>96</sup> эта тема обрисована доступно и просто, в «Саломее» же она звучит непрерывно повторяющимся рефреном, отчего пьеса приобретает характер музыкальной баллады. Она нашла свое воплощение и в стихотворении в прозе о художнике, который, взяв «бронзу изваяния „Печали, длящейся вовеки“, создал изваяние „Радости, пребывающей одно мгновение“».<sup>97</sup> Иначе и быть не могло. В каждый данный момент своей жизни человек – это не только то, чем он был, но и то, чем он станет. Человек – это символ, а потому символично и Искусство.

Если мне удастся выразить все это в полной мере, значит, я смогу реализоваться до конца как художник. Ибо творческая жизнь – это непрерывное самосовершенствование. Смирение художника проявляется в том, что, какие бы испытания ни выпали на его долю, он все их принимает с открытой душой, а Любовь художника заключается в ощущении Красоты, которое он имеет смелость обнажать перед миром.

Пейтер в своем романе «Марий-эпикурец» пишет о том, насколько важно для художника привести свою жизнь в гармонию с религиозной жизнью – в самом глубоком, прекрасном и строгом смысле этого слова. Но Марий – по преимуществу наблюдатель: пусть и идеальный наблюдатель, из тех, кому дано «созерцать спектакль жизни с присущими лишь художнику чувствами» (по определению Вордсворта, считавшего созерцание основным назначением поэта), но

<sup>96</sup> Полное название этого эссе Уайльда – «Душа человека при социализме».

<sup>97</sup> Стихотворение в прозе «Художник», перевод Ф. Сологуба.



все же не более чем наблюдатель, к тому же, по-видимому, слишком поглощенный созерцанием великолепия Святилища, чтобы заметить, что перед ним Святилище Скорби.

Я вижу, насколько глубоко, насколько неразрывно жизнь настоящего художника связана с жизнью Христа, и испытываю огромное удовлетворение при мысли о том, что еще задолго до того, как Скорбь завладела моей душой и привязала меня к себе, я писал в «Душе человека», что человек, стремящийся в своей жизни следовать Христу, должен всегда оставаться самим собой, и в качестве примера назвал не только пастуха, пасущего стадо на склоне холма, и узника, томящегося в темнице, но и живописца, для которого мир – праздник для глаз, и поэта, для которого мир – прекрасная песня.

Помню, я как-то сказал Андре Жиду,<sup>98</sup> когда мы с ним сидели в каком-то парижском кафе, что ни в метафизике, ни в этике я не нахожу ничего интересного, но если взять любое из изречений Платона или Христа, то все они применимы к сфере искусства и находят в нем свое наиболее полное воплощение. Мне кажется, эта мысль была столь же глубокой, сколь и новой.

Мы можем увидеть в Христе полное слияние личности с идеалом, что составляет главную черту романтического Искусства, в отличие от классического, и делает Христа предтечей романтического движения в жизни, но важно также, чтобы мы все понимали, что по природе своей Он во многом был подобен художнику – и прежде всего в том, что основу его личности составляло могучее, пламенное воображение. В сфере человеческих отношений он проявлял ту проникновенную способность сочувствовать и сопереживать, без которой в сфере Искусства немыслимо творчество. Проказу Он разделял с прокаженными, слепоту – с незрячими, душевные страдания – с теми, кто живет ради наслаждений, нищету духа – с богатыми.

Ты, надеюсь, и сам теперь видишь, что, написав мне в тяжелую для меня минуту: «Когда ты спускаешься со своего пьедестала, ты становишься совершенно неинтересен. В следующий раз, если вздумаешь заболеть, я уеду немедленно», ты продемонстрировал не только непонимание истинной природы художника, но и неспособность постигнуть то, что Мэтью Арнолд<sup>99</sup> называл «загадкой Христа».

Вот почему ты не мог усвоить одну простую истину: все, что происходит с другими, происходит и лично с тобой. Если ты решишь выбрать самую важную заповедь, чтобы читать ее на рассвете и на закате, в горе и в радости, вот она: «Все, что происходит с другими, происходит и лично с тобой». Начертай эти слова на стенах своего дома, чтобы солнце золотило их, а луна серебрила, и, если кто-нибудь спросит, что означает эта надпись, можешь ответить, что в ней заключены «сердце Христа и разум Шекспира».

Истинное место Иисуса Христа – среди поэтов. Все его представление о человеческом в человеке проистекает из воображения – и только через воображение может быть осуществлено. Человек был для Него тем, чем боги для пантеиста. Он первый стал относиться к разобщенным народам как к единому человечеству. До Его появления существовали боги и люди, но только Он смог увидеть, что на холмах Жизни есть Бог и есть Человек, и, почувствовав, через чудо страдания, что в Нем воплощен и тот и другой, Он называл себя то сыном Божиим, то сыном Человеческим – смотря по тому, кем себя ощущал. Он больше, чем кто-либо другой за всю историю человечества, пробуждает в нас то ощущение чуда, к которому всегда взывал Романтизм.

Мне до сих пор кажется непостижимым, как этот молодой поселянин из Галилеи мог прийти к осознанию того, что он призван нести на своих плечах бремя целого мира – все грехи человека в прошлом и все его грехи в будущем; все его страдания в прошлом и все его страдания в будущем.

Много их было, тех, кто грешил: и Нерон,<sup>100</sup> и Чезаре Борджа,<sup>101</sup> и Александр VI,<sup>102</sup> и тот,

<sup>98</sup> Андре Жид (1869–1951) – французский писатель, автор романов и нескольких сборников символистских стихов. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1947).

<sup>99</sup> Мэтью Арнолд (1822–1888) – английский поэт и критик.

<sup>100</sup> Клавдий Цезарь Нерон (37–68) – римский император с 54 г. В 59 г. велел умертвить свою мать, в 62 г. – жену Октавию. Репрессиями восстановил против себя широкие слои римского общества. Опасаясь восстания, бежал из Рима и покончил жизнь самоубийством.

кто был римским императором и Жрецом Солнца,<sup>103</sup> и сколько еще других! Еще больше было тех, кто страдал, – имя им легион.<sup>104</sup> Это и те, чье жилище было в могильных пещерах,<sup>105</sup> и угнетаемые народы, и фабричные дети, и воры, и заключенные, и отверженные, и те, кто безмолвствует в рабстве и чье молчание внятно лишь Богу. Но Он не только осознал свою миссию, Он исполнил ее, так что и поныне все те, кто обращается к Нему в своих помыслах – пусть даже они и не приходят к Его алтарю и не преклоняют колен перед Его служителями, – непостижимым образом чувствуют, что им отпускаются все их грехи, какими бы чудовищными они ни были, и перед ними раскрывается красота их страданий.

Я сказал о Нем, что место Его среди поэтов, и воистину это так. Софокл<sup>106</sup> и Шелли<sup>107</sup> – вот кто Его собратья.

Но и сама Его жизнь – замечательнейшая из поэм. Во всех древнегреческих трагедиях, вместе взятых, не заключается столько величественного и трагического, сколько довелось пережить Ему. Абсолютная безгрешность и духовная чистота главного персонажа этой жизни-поэмы возносят ее на недостигаемые вершины романтического искусства, с высоты которых страдания Пелопа<sup>108</sup> и героев Софокла, какими бы мучительными они ни были, кажутся излишне драматизированными и не вызывают сочувствия.

Становится очевидным, насколько ошибался Аристотель, утверждая в своем трактате о драме, что лицедреть муки невинного совершенно невыносимо.

Ни у Эсхила и Данте, этих суровых мастеров нежности, ни у Шекспира, самого человеческого из всех великих художников, ни во всех кельтских мифах и легендах, где красота мира показана сквозь пелену слез, а жизнь человека длится не дольше жизни цветка, не найти столь полного выражения щемящей печали, слившейся воедино с возвышенным трагическим чувством, как мы это видим в последнем акте Страстей Господних.

Тайная вечеря с учениками, один из которых уже продал Его за горстку монет; испытываемая Им скорбь в тихой, озаренной луной оливковой роще; Его вероломный друг,<sup>109</sup> приближаю-

---

<sup>101</sup> Чезаре Борджа (1476–1507) – итальянский генерал, незаконнорожденный сын папы Александра VI. Был известен своей жестокостью и коварством.

<sup>102</sup> Александр VI (1431–1503) – римский папа с 1492 по 1503 гг.; настоящее имя Родриго Борджа. Был известен своей порочностью и расточительностью. Имел четырех незаконнорожденных детей, одному из которых, Чезаре Борджа, помог сделать карьеру.

<sup>103</sup> Имеется в виду римский император Гелиогабал, или Элагабал (204–222); в 217 г. стал в г. Эмеса (в Сирии, тогда римской провинции) жрецом сирийского бога солнца Элагабала (соответствует римскому Гелиосу), откуда его имя; расточительность и распутство Гелиогабала вызывали всеобщее недовольство; был убит преторианцами (императорскими гвардейцами); ввел в Риме культ бога солнца Гелиоса.

<sup>104</sup> Евангелие от Марка, V, 9.

<sup>105</sup> Евангелие от Марка, V, 3.

<sup>106</sup> Софокл (ок. 496–406 г. до н. э.) – древнегреческий поэт и драматург, один из трех величайших представителей античной трагедии (двое других – Эсхил и Еврипид).

<sup>107</sup> Перси Биш Шелли (1792–1822) – английский поэт-романтик, известный своей вольнолюбивой и интимной лирикой. Автор поэм, а также статей о литературе и искусстве.

<sup>108</sup> Пелоп – в греческой мифологии герой, сын Тантала. Убив Пелопа, Тантал пригласил богов на пир и подал им угощение, приготовленное из тела Пелопа. Разгневанные боги, отвергнув эту нечестивую трапезу, приказали Гермесу вернуть Пелопа к жизни. Гермес выполнил волю богов, погрузив разрозненные члены Пелопа в котел с кипящей водой. Юноша вышел из него наделенным необычайной красотой. Только одно его плечо, которое в задумчивости съела Деметра, опечаленная исчезновением дочери Персефоны, пришлось изготовить из слоновой кости. С тех пор у потомков Пелопа на левом плече сохранялось белое пятно.

<sup>109</sup> Иуда Искарот.

щийся к Нему, чтобы поцеловать Его предательским поцелуем; еще один Его друг, который пока что предан Ему и опираясь на которого, как на скалу,<sup>110</sup> Он надеялся построить для людей Церковь Божию (именно этот ученик отречется от Него прежде, чем петух пропоет на рассвете); Его глубочайшее одиночество; Его смирение и кроткое приятие всего, что вершится с ним и вокруг него, – вот что мы видим.

Наряду с этим перед нами разворачиваются и иные сцены: мы зрим, как первосвященник в ярости рвет на себе одежды, а Прокуратор, велев принести воды, тщетно пытается отмыться от обогрившей его невинно пролитой крови, каковое преступление навечно сделало его Кровавой Фигурой Истории; как венчают на царство Страдание – одно из самых удивительных событий за всю известную нам историю; как на кресте распинают Невинного на глазах Его матери и Его любимого ученика; как солдаты бросают жребий, решая, кому достанется Его одежда; как мучительно Он умирает, своей смертью явив событие столь огромной важности, что оно стало для Человечества вечным символом; и наконец, как Его хоронят в гробнице, принадлежащей знатному и богатому человеку, завернув в египетское полотно, окропленное дорогами пахучими веществами и благовониями, словно Он царский сын.

Когда представляешь себе сцену распятия чисто с эстетической точки зрения, то начинаешь понимать, насколько нужно быть благодарным Церкви за то, что она в своем главном богослужении воспроизводит Страсти Господни не как трагедию с реками пролитой крови, а как мистерию с использованием диалога, костюмов и жестов.

Кроме того, я всегда с каким-то благоговейным трепетом напоминаю себе, что именно мы все мы обязаны тем, что, внимая певческим диалогам дьякона и священника в ходе службы, мы слышим Греческий Хор,<sup>111</sup> дошедший до нас из глубины веков и забытый всеми другими Искусствами.

Красота и Скорбь слились в Христе воедино – и по своей сути, и в своем проявлении, – поэтому Его жизнь можно назвать идеальной, хотя и закончилась она тем, что тьма наступила по всей земле, разорвалась посредине завеса в храме, а к входу в Его гробницу привалили огромный камень.<sup>112</sup>

Думая о нем, мы представляем его то молодым женихом, окруженным группой друзей (Он и сам как-то раз назвал себя женихом), то пастырем, ведущим своих овец через долину в поисках зеленых лужаек и прохладного родника, то песнопевцем, стремящимся выстроить из своей музыки стены Града Господня, то влюбленным, чью любовь не может вместить весь мир.

Чудеса, которые Он творил, кажутся мне такими же волшебными и в то же время естественными, как ежегодный приход весны.

Мне совсем нетрудно поверить в то, что обаяние Его личности было столь велико, что уже одно Его появление приносило мир и покой в души страждущих; или в то, что всякий, коснувшийся Его одежды или руки, тут же забывал о своей боли; или в то, что людям, когда Он проходил мимо них указанной ему свыше дорогой, открывались глубочайшие тайны жизни, ранее взору их недоступные, а те, кто всегда был глух ко всем голосам, кроме голоса Наслаждения, вдруг начинали слышать голос Любви, находя его «сладкозвучным, как Аполлонова лютня»;<sup>113</sup> или в то, что дурные страсти обращались при Его появлении в бегство; или в то, что люди, чье тусклое, лишенное возвышенных устремлений существование было всего лишь разновидностью

<sup>110</sup> Речь идет об апостоле Петре (его имя в переводе с древнегреческого означает «камень, скала»).

<sup>111</sup> Греческий Хор – в древнегреческом театре: обязательный коллективный участник в трагедиях и комедиях, декламирующий (или поющий) свою роль хором.

<sup>112</sup> Все это произошло после смерти распятого Христа. Вход в гробницу, куда положили Его тело, закрыли камнем первосвященники и фарисеи, которые не верили, что Он, согласно Его собственному предсказанию, воскреснет на третий день после своей смерти; они опасались, что тело Христа выкрадут Его ученики, чтобы объявить людям, будто бы Он действительно воскрес и вознесся на Небо.

<sup>113</sup> Строка из драматической поэмы Джона Мильтона «Комус».

смерти, словно вставали из могил, услышав Его зов, или в то, что, когда Он читал свою проповедь на склоне горы, слушавшие Его люди забывали и про голод, и про жажду, и про заботы мира сего, или в то, что друзьям, внимавшим Ему, когда Он сидел с ними за трапезой, грубая пища казалась изысканной, вода имела сладкий вкус вина, а весь дом казался наполненным благоуханием народа.

Ренан<sup>114</sup> в своей «Жизни Иисуса» – в этом, я бы сказал, Пятом Евангелии, исполненном сострадания к Христу и действительно заслуживающем того, чтобы быть названным Евангелием от Фомы,<sup>115</sup> – говорит, что самый удивительный феномен Христа заключается в той огромной любви, которую Он вызывал у людей не только при жизни, но и после смерти. Если Его место и в самом деле среди поэтов, то Он, несомненно, первейший среди тех из них, кто посвятил свою музу любви. Он знал, что любовь – это утраченная тайна мироздания, которую всегда пытались найти мудрецы, и что только через любовь можно коснуться сердца прокаженного или Стоп Божиих.

Но Иисус Христос прежде всего – индивидуалист, индивидуалист до мозга костей. Смирение (точно так же, как и кроткое принятие всего, что вершится, будто бы свойственное артистической натуре) является ничем иным, как одним из проявлений человеческой сущности.

Душа человека – вот что всегда интересует Христа и чего он ищет в человеке. Он называет ее «Царствием Божиим» – з вбуйлеЯб фп иеьх – и находит ее в каждом из нас. Он сравнивает ее с такими мелкими предметами, как крохотное семя, щепотка дрожжей или жемчужина. Ибо свою душу мы обретаем только тогда, когда очищаем ее от чуждых нам страстей, от всего поверхностного и наносного – причем не только дурного, но и хорошего.

Со всем упорством, на которое способна моя воля, со всей мятежностью, свойственной моей натуре, сопротивлялся я ударам судьбы, пока у меня не осталось ничего на свете, кроме Сирила. Я потерял свое доброе имя, положение в обществе, счастье, свободу, состояние. Я стал узником и нищим. Единственное, и самое ценное, что у меня оставалось, – это мой старший сын. И вдруг я узнаю, что суд отобрал у меня и его. Удар был столь же внезапным, сколь сокрушительным, и я окончательно растерялся. И тогда я бросился на колени, низко склонил голову и со слезами на глазах произнес: «Тело ребенка что тело Господне: я недостоин обоих». Думаю, эта минута меня спасла.

В тот момент я увидел, что мне остается только одно: со смирением принять свою участь. И с тех пор – пусть тебе это и покажется странным – я стал намного счастливее. Ведь в ту минуту мне было дано постигнуть свою душу. И хотя я всегда вел себя с ней, как с врагом, она приняла меня как друга. Когда общаешься со своей душой, становишься простым и бесхитростным, словно дитя, – такими и пристало нам быть по заветам Христа.

Наша трагедия заключается в том, что только немногие из нас «успевают познать свою душу»<sup>116</sup> до того, как уходят из жизни. «Редко кто способен поступать, руководствуясь собственной волей», – говорит Эмерсон,<sup>117</sup> и он совершенно прав. Большинство людей – это тени других людей; их мысли – перепев чужих мыслей, их жизнь – подражание чужой жизни, их страсти – эхо чужих страстей.

Христос был не только воплощением индивидуализма, но и самым первым индивидуалистом во всей истории. Люди же всегда пытались видеть в Нем обыкновенного благотворителя

---

<sup>114</sup> Жозеф Эрнест Ренан (1823–1892) – французский писатель, историк религии. В «Жизни Иисуса» (в 8 книгах, 1863–1883 гг.) изобразил Иисуса Христа исторически существовавшим проповедником.

<sup>115</sup> Как известно, в Новый Завет входят четыре Евангелия – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Фоме (или св. Фоме), который тоже был учеником Христа и апостолом, приписывается так называемое Евангелие от Фомы, которое не входит в Новый Завет и, в сущности, является набором изречений Христа.

<sup>116</sup> Слова из поэмы Мэтью Арнолда «Южная ночь».

<sup>117</sup> Ралф Уолдо Эмерсон (1803–1882) – американский философ, эссеист и поэт, представитель романтизма. Приведенные строки – из посмертно опубликованной лекции «Проповедник», вошедшей в книгу «Лекции и биографические заметки» (1883).



(вроде тех ужасных филантропов, которых столько развелось в XIX веке) или причисляли Его к альтруистам, тем самым ставя Его в один ряд с людьми сентиментальными и не слишком последовательными в своих убеждениях. Но Он не был ни тем, ни другим.

Конечно, Он испытывал жалость и к бедным, и к тем, кто томится в неволе, и к униженным, и к обездоленным, – но гораздо больше Он жалел тех, кто купается в деньгах, кто живет ради одних наслаждений, кто теряет свободу, отдаваясь в рабство вещам, кто носит роскошные одежды и живет в королевских покоях. Богатство и Наслаждение Он считал намного большей трагедией, чем Бедность и Страдание. А что касается альтруизма, то кто лучше, чем Он, понимал, что двигать нами должны не самопринуждение и сила необходимости, а призвание и добрая воля? Ведь сколько бы мы ни старались, собрать с терновника виноград или с чертополоха инжир нам никогда не удастся.

Христос не считал обязательным, чтобы каждый из нас старался жить для других. Не это лежало в основе Его убеждений. Когда Он говорит нам: «Прощайте врагам вашим», Он имеет в виду, что мы должны это делать не ради наших врагов, но ради нас самих, а еще потому, что Любовь прекраснее Ненависти. Увещевая полюбившегося Ему видом своим юношу словами: «Продай все, что имеешь, и раздай нищим», Он думает не о бедственном положении нищих, а о душе этого юноши – прекрасной душе, которую растлевает богатство.

Он смотрит на мир глазами художника, который знает, что, согласно непреложному закону самосовершенствования, поэту положено петь, скульптору – отливать свои мысли в бронзе, а живописцу – делать изображаемый им мир зеркалом своих настроений, точно так же, как боярышнику положено каждый год цвести по весне, зерну – наливаться золотом к жатве, а Луне в предначертанных ей ночных странствиях по небу – превращаться то из круглого щита в серп, то снова из серпа в круглый щит.

Но хотя Христос и не говорил людям: «Живите ради других», Он постоянно подчеркивал, что нет никакого различия между жизнью любого из смертных и жизнью всех остальных. Тем самым Он наделил человека безграничной, поистине титанической личностью. Вот почему с той поры, как Он пришел к людям, история каждого отдельного человека стала одновременно и историей всего человечества.

С развитием Культуры личность человека стала более индивидуальной, а Искусство вселило в нас мириады душ. Те, кто наделен душою художника, удаляются вслед за Данте в изгнание и узнают вместе с ним, как горек чужой хлеб и до чего круты чужие лестницы; они проникаются ясностью и величественным спокойствием духа, свойственными Гете, и в то же время, как никто иной, понимают, почему Бодлер<sup>118</sup> восклицал, обращаясь к Богу:

O Seigneur, donnez-moi la force et le courage  
De contempler mon corps et mon coeur sans dйgoйt.<sup>119</sup>

Они вычитывают в сонетах Шекспира – быть может, причиняя себе боль – тайну его любви и делают ее своей собственной; они по-новому смотрят на время, в котором живут, потому что услышали один из ноктюрнов Шопена или прикоснулись к чему-то, что создано древними греками, или же прочли историю любви некоего мужчины, жившего много лет назад, к его современнице – женщине, чьи волосы напоминали тончайшие золотые нити, а губы были цвета граната.

Но эти люди, имеющие душу художника, сопереживают только тому, что нашло свое индивидуальное выражение. Поэтому любыми средствами – то ли через слова или цвет, то ли через музыку или скульптуру, то ли через раскрашенные маски Эсхиловой трагедии или звуки сицилийской пастушьей дудочки из тростника, – но человек обязательно должен выразить себя и

<sup>118</sup> Шарль Бодлер (1821–1867) – французский поэт, предшественник французского символизма. Приведенная далее цитата взята из стихотворения «Путешествие на Киферу» (сборник «Цветы зла»).

<sup>119</sup> «О Боже, дай мне сил глядеть без омерзенья. (Пер. с фр. И. Лихачева).

сделать так, чтобы его слышали другие и поняли, что он хотел сказать.

Для художника восприятие всего того, что выражает или как-то проявляет себя, – это единственный способ постижения жизни. То, что безгласно, для него мертво. Но для Христа это было не так.

С удивлением и благоговейным трепетом думаешь о той огромной силе воображения, которая позволила Ему воспринять, а затем и принять в царствие Свое весь этот бессловесный, безгласный мир страданий и навеки стать его голосом. Он назвал братьями тех, кто безмолвствует в рабстве и «чье молчание внятно лишь Богу».

Он хотел сделаться глазами слепого, ушами глухого, криком, слетающим с уст того, у кого отнялся язык. Для бесчисленных масс, не имеющих голоса, Он стремился стать рупором, через который они могли бы вызывать к Небесам.

И с пронизательностью художника, для которого Скорбь и Страдание – это средства, через которые он может выразить свое видение Прекрасного, Он понимал, что никакая идея не будет представлять большой ценности, если не воплотить ее в зримый образ, а потому предстал перед людьми в образе Смертного в Скорби, тем самым восхитив и покоров Искуство, чего не удавалось сделать ни одному из греческих богов.

Ведь греческие боги, какими бы прекрасными и легконогими они нам ни представлялись, были на самом деле не тем, чем казались.

Изгиб бровей Аполлона<sup>120</sup> был подобен серповидному краю солнца, выглядывающего из-за холма на рассвете, а ноги его были словно крылья утра, но это не помешало ему жестоко обойтись с Марсием<sup>121</sup> и истребить сыновей Ниобы;<sup>122</sup> в стальных щитах очей Афины Паллады<sup>123</sup> не проглядывало ни малейшей жалости к Арахне;<sup>124</sup> никакая пышность, никакое величие жилища и нарядов Геры,<sup>125</sup> равным образом как и ходившие следом за ней красавицы павлины, не могли скрыть отсутствие в ней благородства; даже Зевс, Царь и Отец богов, слишком уж часто пленялся земными женщинами, дочерьми смертных.

В то же время в греческой мифологии есть две фигуры, приобретшие своего рода символическое значение в двух сферах – религии и искусства; это, соответственно, богиня плодородия и земледелия Деметра, не принадлежавшая, однако, к сонму олимпийцев, и бог растительности и виноградарства Дионис, сын смертной женщины,<sup>126</sup> для которой момент его рождения стал мо-

---

<sup>120</sup> Аполлон – в греческой мифологии сын Зевса и богини Лето (Латоны), отец Орфея, бог-целитель и прорицатель, покровитель искусств. Изображался прекрасным юношей с луком или кифарой.

<sup>121</sup> Марсий – фригийский сатир, один из спутников Диониса, первоначально божество одноименного притока реки Меандра в Малой Азии; Марсий нашел флейту, оброненную Афиной, и вступил с Аполлоном, непревзойденным мастером игры на кифаре, в музыкальное состязание, но был побежден. Разгневанный дерзостью Марсия, Аполлон содрал с него кожу и повесил ее на дереве, и с тех пор при каждом звуке флейты кожа Марсия начинает трепетать.

<sup>122</sup> Ниоба – супруга царя Фив Амфиона, дочь Тантала, сестра Пелопы. У Ниобы было шесть сыновей и шесть дочерей, и она смеялась над богиней Лето (Латоной), родившей только двоих – Аполлона и Артемиду. Ниоба запретила фиванским женщинам приносить Латоне жертвы. Оскорбленная богиня Латоны призвала к мести, и Аполлон поразил стрелами всех сыновей Ниобы, а Артемиду – всех ее дочерей.

<sup>123</sup> Афина (Паллада) – в греческой мифологии богиня неба, повелительница туч и молний, богиня плодородия, покровительница мирного труда.

<sup>124</sup> Арахна – лидийская девушка, искусная рукодельница, дерзнувшая вызвать на состязание в ткачестве саму Афины и превращенная за это богиней в паука.

<sup>125</sup> Гера – в греческой мифологии царица богов, сестра и жена верховного бога Зевса, покровительница брака. Отличалась властью, жестокостью и ревнивым нравом.

<sup>126</sup> Бог растительности, покровитель виноградарства и виноделия Дионис был сыном Зевса и Семелы, дочери фиванского царя Кадма. Ревновавшая Семелу к Зевсу Гера посоветовала ей, незадолго до рождения ребенка, потребовать, чтобы царь богов явился к ней во всем своем величии. Зевс появился, сверкая молниями, испепелившими Семелу. Ребенка, Диониса, Зевс извлек из чрева матери и зашил себе в бедро. Там Дионис окреп и вскоре родился вторично.

ментом ее смерти.

Но на самом дне Жизни, в обстановке предельно простой и скромной, появилась личность куда более необыкновенная, чем мать Прозерпины<sup>127</sup> или сын Семелы.

Из мастерской назаретского плотника в мир вышел Тот, кто был намного более велик, чем все герои легенд и мифов; Тот, кому было предначертано, как это ни странно, открыть миру мистическое значение вина и подлинную красоту полевых лилий, чего никто и никогда до него не делал – ни на Кифероне,<sup>128</sup> ни в Энне.<sup>129</sup>

В словах Исайи:<sup>130</sup> «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое»<sup>131</sup> Христос увидел свой собственный прообраз, и пророчество Исайи сбылось с приходом Христа.

Мы не должны бояться подобных изречений. Любое произведение искусства являет собой исполнение какого-нибудь предвидения, ибо каждое произведение искусства являет собой воплощение замысла в каком-нибудь образе.

Любой из нас мог бы явиться тем, кто был предвещен каким-либо пророчеством, ибо каждый из нас мог бы стать воплощением идеала, сложившегося либо в сознании Бога, либо в сознании Человека.

Но только Христос, Чьего прихода долгие века ждал мир, воплотил в себе этот идеал, и только с Его появлением сбылся пророческий сон поэта в Вергилиевых «Буколиках», привидевшийся тому не то в Иерусалиме, не то в Вавилоне.<sup>132</sup> «Столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче сынов человеческих!»<sup>133</sup> – вот некоторые из признаков, которые, по словам Исайи, должны отличать новый идеал, и, как только Искусство постигло значение этих слов, оно раскрылось, словно цветок, навстречу Тому, в Чьем образе истинное Искусство проявило себя с невиданной ранее полнотой. Ибо истина в Искусстве, как я уже говорил, – это «единство внешнего и внутреннего, это нераздельность формы и содержания, это дух, ставший плотью, и плоть, исполненная духа и ставшая для него внешней формой».

На мой взгляд, человечество должно более всего сожалеть о том повороте в ходе своей истории, в результате которого было прервано в своем естественном развитии подлинное возрождение, начавшееся с приходом Христа и давшее миру Шартрский собор,<sup>134</sup> цикл легенд о короле Артуре, жизнь святого Франциска Ассизского,<sup>135</sup> творчество Джотто<sup>136</sup> и «Божественную Коме-

---

<sup>127</sup> Прозерпина – в римской мифологии то же, что в греческой Персефона; дочь Зевса и Деметры и владычица преисподней.

<sup>128</sup> Киферон – гора между Беотией и Аттикой, где находилась пещера, считавшаяся приютом нимф-прорицательниц; центр культа Диониса.

<sup>129</sup> Энна – город в провинции Энна в Сицилии, центр культа Деметры и Персефоны.

<sup>130</sup> Исайя – древнееврейский пророк (VIII в. до н. э.). Автор глав 1–33 и 36–39 книги Ветхого Завета, носящей его имя («Исайя»).

<sup>131</sup> Ветхий Завет, книга пророка Исайи, LIII, 3.

<sup>132</sup> В сборнике римского поэта Вергилия (70–19 до н. э.) «Буколики» («Пастушеские песни»), в 4 эклоге, есть место, которое может трактоваться как предсказание Рождества Христова.

<sup>133</sup> Ветхий Завет, книга пророка Исайи, LII, 14.

<sup>134</sup> Шартрский собор – шедевр готической архитектуры во французском городе Шартре; строился с 1194 г. по 1260 г.

<sup>135</sup> Франциск Ассизский (настоящее имя Джованни Бернардоне) (1181 или 1182–1226) – итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозно-поэтических произведений. В 1228 г. канонизирован.

<sup>136</sup> Джотто ди Бондоне (1266 или 1267–1337) – итальянский живописец, один из основоположников искусства Проторенессанса (раннего Возрождения).

дию» Данте.

Последовавший затем унылый период, известный (что за ирония!) как эпоха Возрождения, или классический Ренессанс, дал нам Петрарку, фрески Рафаэля, архитектуру школы Палладио,<sup>137</sup> формальную французскую трагедию, собор св. Павла,<sup>138</sup> поэзию Попа<sup>139</sup> и вообще все то, что создается на основе чисто внешних и омертвелых канонов, а не берет начало изнутри, из глубин души человека.

Зато любое проявление романтического духа в Искусстве свидетельствует о том, что мы каким-то непостижимым образом соприкасаемся с Христом или Его душой. Он, Христос, присутствует и в «Ромео и Джульетте», и в «Зимней сказке», и в поэзии провансальских трубадуров, и в «Старом мореходе»,<sup>140</sup> и в «La Belle Dame sans Merci»,<sup>141</sup> и в «Балладе о милосердии» Чаттертона.<sup>142</sup>

Именно Христу мы обязаны появлением в Искусстве таких непохожих творцов и творений, как, например, «Отверженные» Гюго; «Цветы зла» Бодлера; русские романы с звучащей в них нотой сострадания; витражи, гобелены и другие работы Бёрн-Джонса и Морриса в стиле кватроченто;<sup>143</sup> стихотворения Верлена.

Все это, можно сказать, является Его свершениями, равным образом как Его свершениями могут считаться и Башня Джотто,<sup>144</sup> и Ланселот, и Гвиневера,<sup>145</sup> и Тангейзер,<sup>146</sup> и эмоционально-романтические изваяния Микеланджело, устремленная в небо готика, и любовь к цветам и детям.

В классическом искусстве цветам и детям отводилось так мало места, что первым негде было расти, а вторым негде играть, но, начиная с XII столетия и поныне, искусство без них обходиться уже не может, причем они появляются в свойственной цветам и детям манере – когда им вздумается, как им вздумается и по какому угодно поводу. Ведь не случайно нам кажется по весне, будто цветы вовсе не исчезали на зиму, а просто играли с нами в прятки, и вот теперь, испугавшись, как бы нам не надоело бродить в их поисках, поспешили выбраться на солнце. Ну а что до детей, то жизнь представляется им долгим апрельским днем, в котором есть место и дождю, и солнцу, и цветущим нарциссам.

Именно благодаря своему дару воображения Христос и стал животрепещущим сердцем всего романтического, и если прихотливые образы стихотворных драм и баллад созданы воображением других, то самого себя Иисус Назарянин сотворил силой своего собственного воображения.

---

<sup>137</sup> Андреа Палладио (1508–1580) – итальянский архитектор эпохи позднего Возрождения, постройки которого отличались классической правильностью форм и симметрией.

<sup>138</sup> Собор св. Павла – кафедральный собор англиканской церкви в Лондоне; построен архитектором Кристофером Реном в 1675–1710 гг. после Великого лондонского пожара.

<sup>139</sup> Александр Поп (1688–1744) – английский поэт, отличавшийся отточенностью стиля и едким остроумием.

<sup>140</sup> «Сказание о старом мореходе» – поэма Сэмюэля Колриджа (1798).

<sup>141</sup> «La Belle Dame sans Merci» – «безжалостная прекрасная дама», стихотворение Джона Китса (фр.).

<sup>142</sup> Томас Чаттертон (1752–1770) – английский поэт-мистификатор; выдавал собственные стихи в духе предромантизма на средневековом английском языке за произведения Т. Раули, якобы жившего в XV в.

<sup>143</sup> Кватроченто – период раннего Возрождения в Италии.

<sup>144</sup> Башня Джотто – колокольня флорентийского собора, проект которой приписывается Джотто.

<sup>145</sup> Гвиневера – жена короля Артура и любовница Ланселота.

<sup>146</sup> Тангейзер (ок. 1205–1270) – немецкий поэт-миннезингер (т. е., букв., певец любви). Оказал влияние на средневековых немецких куртуазных поэтов.



В сущности говоря, возглашенные Исайей слова предвещали пришествие Христа не более, чем песнь соловья предвещает восход луны, хотя, может быть, и не менее.

Его приход явился в равной мере и отрицанием и подтверждением пророчества. Он исполнил много надежд, но не меньше надежд Он разрушил.

Всякой красоте, как считал Бэкон, «присуща некоторая диспропорция»,<sup>147</sup> и Христос, говоря о тех, кто рожден от духа и кто, подобно Ему, являет собой активную силу, уподобляет их ветру, который «где хочет, веет, и голос его слышишь и не знаешь, откуда приходит и куда уходит».<sup>148</sup> В этом и кроется Его неодолимое для художников обаяние. Он несет в себе все, что окрашивает жизнь в яркие краски: таинственность и необычность, сострадание и надежду, экстаз и любовь. Он вызывает к ощущению чуда и создает в нас то удивительное состояние души, без которого мы не могли бы Его постигнуть.

Мне доставляет удовольствие думать о том, что если Он «отлит из одного воображенья»,<sup>149</sup> то ведь и весь мир создан из той же субстанции. В «Дориане Грее» у меня сказано, что величайшие преступления в мире совершаются прежде всего в голове человека, но ведь и все остальное тоже совершается у нас в мыслях. Теперь уже каждый знает, что видим мы не глазами и слышим мы не ушами.

Они всего лишь каналы, с той или иной достоверностью передающие наши чувства и ощущения, и мы все понимаем, что мак алеет, яблоко пахнет и жаворонок распевает только в нашем мозгу.

Последнее время я прилежно штудирую все четыре поэмы в прозе о жизни Христа.<sup>150</sup> Дело в том, что на Рождество мне удалось достать Новый Завет на греческом языке, и теперь по утрам, покончив с уборкой камеры и вычистив всю свою оловянную посуду, я понемногу читаю какое-нибудь из Евангелий, беря наугад с десятков-другой стихов.

Ничего не может быть лучше, чем начинать таким образом каждый свой день. Было бы замечательно, если б и ты в своей суматошной, беспорядочной жизни делал бы то же самое. Это пошло бы тебе только на пользу, ну а греческий язык не так уж и сложен. Мы постоянно произносим цитаты из Библии, как к месту, так и не к месту, и это убило в нас способность наслаждаться свежестью, папветй<sup>151</sup> и романтическим очарованием евангельских текстов.

Нам декламируют их вслух слишком уж часто и дурно, а всякое механическое повторение убивает в поэзии душу. Но когда обращаешься к греческому оригиналу, кажется, что вырвался из душного, темного помещения и очутился в саду, полном благоухающих лилий.

Читать подлинные евангельские тексты становится двойным удовольствием, когда представишь, что многие из этих фраз, этих *ipsissima verba*,<sup>152</sup> мог произносить сам Иисус. Ведь Христос, как предполагается, говорил на одном из арамейских языков.<sup>153</sup> Так считал даже Ренан.

К тому же теперь мы знаем, что галилейские крестьяне, подобно нынешним ирландским крестьянам, говорили на двух языках и что греческий язык был языком межнационального общения, причем не только в Палестине, но и на всем Ближнем Востоке.

Меня всегда удручала мысль, что слово Христово мы знаем только по переводу, сделанно-

<sup>147</sup> См. эссе «О красоте» английского писателя и философа Фрэнсиса Бэкона (1561–1626).

<sup>148</sup> Евангелие от Иоанна, III, 8.

<sup>149</sup> Строка из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».

<sup>150</sup> Речь идет о четырех канонических Евангелиях, входящих в Новый Завет.

<sup>151</sup> Nanveti – простодушные, наивность (фр.).

<sup>152</sup> *Ipsissima verba* – доподлинные слова(лат.).

<sup>153</sup> Арамейские языки – группа семитских языков (диалектов). Древнейший период представлен староарамейскими надписями IX–VII вв. до н. э. В дальнейшем арамейские языки разветвились на западные и восточные диалектные группы.

му с другого перевода, и мне доставляет удовольствие думать, что Его речь мог бы понять Хармид, с Ним мог бы дискутировать Сократ и Его доводам мог бы внимать Платон.<sup>154</sup>

Я уверен, что Он действительно сказал: дгю екмЯ ї рпймЮн ї кблът,<sup>155</sup> или что Он и в самом деле, подумав о полевых лилиях и о том, что «они не трудятся и не прядут», произнес именно эти слова: кбфбмбиЭфе фЪ ксЯнб фп Ргсїн, рђт *бобней, п кърйб п дЭ нЮией*<sup>156</sup> или что перед самой смертью Он произнес не эту длинную фразу: «Жизнь моя подошла к концу, ее назначение исполнено, моя миссия завершена», а одно-единственное слово, которое называет нам св. Иоанн: фэфЭлеумбй,<sup>157</sup> и ни звуком больше.

Читая любое из Евангелий, в особенности от Иоанна (хотя я не исключаю, что под именем и мантией св. Иоанна мог скрываться какой-нибудь гностик<sup>158</sup> из эпохи раннего христианства, который и написал этот текст), я не только вижу многочисленные подтверждения того, что воображение является основой всей духовной и материальной жизни, но и убеждаюсь в том, что для Христа воображение было не чем иным, как одной из форм Любви, и что Любовь для Него была Богом в полном смысле этого слова.

Неделя шесть тому назад тюремный врач разрешил давать мне белый хлеб вместо грубого черного или серого хлеба, входящего в обычный рацион заключенных. Для меня это величайшее лакомство. Тебе, конечно, покажется странным, что сухой – пусть и белый – хлеб может для кого-то быть лакомством. Но, уверяю тебя, для меня это такой деликатес, что каждый раз после еды я подбираю и отправляю в рот все до единой крошки, которые могли остаться на моей оловянной тарелке или упасть на грубое полотенце, используемое нами вместо скатерти (чтобы не запачкать стол), причем заметить, я подбираю их не от голода – теперь мне, слава Богу, еды хватает, – а просто чтобы ничего из того, что отпущено на мою долю, не пропало даром. Точно так же надо относиться и к любви.

Христос, как и все, кто наделен неотразимым личным обаянием, не только обладал удивительным даром говорить прекрасные вещи, но и мог влиять на других таким образом, что они говорили ему столь же прекрасные вещи в ответ.

Я очень люблю рассказанную Св. Марком историю об одной греческой женщине – гхнЮ ФЕлзнЯт, – которая, когда Христос, испытывая ее веру, сказал ей, что нехорошо брать хлеб у детей Израилевых и бросать собакам, отвечала Ему, что маленькие собачки (кхнЪсйб – это буквально и значит «маленькие собачки»), которые сидят под столом, едят лишь те крошки, что роняют дети.

Большинство людей живут ради того, чтобы их любили и восхищались ими. Но мы должны жить не для этого, а для того, чтобы любить других и восхищаться другими. Если же любят нас, то мы должны отдавать себе отчет в том, что мы недостойны этой любви. Среди нас, смертных, нет ни одного, кто был бы достоин любви.

А любовь Бога к человеку говорит лишь о том, что так уж установлено Божественным провидением, чтобы вечная любовь отдавалась тому, кто вовеки не будет ее достоин. Если эти слова кажутся тебе продиктованными накопившейся во мне горечью, то можно, по крайней мере, сказать, что любви достойны все, за исключением тех, кто считает себя достойным ее.

Любовь – святыня, и причащаться ее следует преклонив колена, а на устах и в сердцах

<sup>154</sup> Уайльд имеет в виду только гипотетическую возможность их общения с Христом, обеспечиваемую знанием греческой речи; на самом деле они не были современниками Христа.

<sup>155</sup> «Я есмь пастырь добрый» (гр., Евангелие от Иоанна, X, 11).

<sup>156</sup> «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут» (гр., Евангелие от Матфея, VI, 28).

<sup>157</sup> «Свершилось!» (гр., Евангелие от Иоанна, XIX, 30).

<sup>158</sup> Гностик – последователь гностицизма; гностицизм – религиозно-философское течение раннего христианства, пытавшееся создать учение о божестве, о происхождении и развитии мира на основе христианских религиозных догматов и восточной мифологии.

причащаемых должны звучать слова: «Domine, non sum dignus».<sup>159</sup> Мне хотелось бы, чтобы ты хоть иногда задумывался над этим. Тебе это просто необходимо.

Если когда-нибудь я снова стану писать (конечно, имеются в виду художественные произведения), то я мог бы назвать только две темы, раскрывая которые и посредством которых мне хотелось бы выразить себя: одна – «Христос как предтеча романтического движения в жизни», а другая – «Жизнь художника в соотношении с его поступками».

Первая из них представляется мне даже более увлекательной, потому что в Христе я вижу не только воплощение всего того, что должно быть присуще идеальному романтическому образу, но и некоторые черты – я бы даже назвал их странностями, – которые свойственны романтическому характеру.

Иисус первый сказал нам, людям, что мы должны жить «подобно цветам», и эти слова стали крылатыми. Детей Он считал образцом, походить на который должен стараться каждый, и ставил их старшим в пример. Я, кстати, тоже всегда считал, что в этом и состоит, по большому счету, основное назначение детей, хотя, конечно, тому, что является совершенным, не обязательно иметь назначение.

Данте пишет в своей «Божественной комедии», что душа человека выходит из рук Божиих, «смеясь и плача, как малое дитя», но еще Христос говорил о том, что душа каждого человека должна быть, как у ребенка, или, говоря словами Данте, она должна быть «a guisa di fanciulla, che piangendo e ridendo pargoleggia».<sup>160</sup>

Он видел, насколько изменчива, быстротечна, непредсказуема жизнь, и понимал, что скопывать ее какими-то рамками было бы смерти подобно. Он так же хорошо понимал, что людям не стоит с излишней серьезностью относиться ко всему материальному и приземленному и что быть непрактичным – это великое благо. Человек не должен уделять повседневным делам слишком много внимания. «Птицы небесные живут, не заботясь о таких пустяках, так почему бы и человеку не жить точно так же?»

Он просто великолепен, когда говорит: «Не заботьтесь о завтрашнем дне. Душа не больше ли пищи, а тело – одежды?»<sup>161</sup> Вторая часть изречения могла бы принадлежать и кому-нибудь из греков. Она вполне в эллинистическом духе. Но только Христос мог соединить оба этих суждения, тем самым дав нам точное и полное определение жизни.

Его нравственность целиком состоит в сострадании, в чем, собственно, и должна заключаться нравственность. Если бы Он сказал только эти слова: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много»,<sup>162</sup> то уже в этом случае Он исполнил бы свою миссию, ради которой стоило умереть. Его понимание справедливости было как у поэта (каковым оно, в общем-то, и должно быть), а не как у служителя Фемиды.

Нищий попадает на небо, потому что на земле у него не было счастья. Кто-кто, а уж он-то заслужил свое место в Раю. Работники, собирающие виноград в течение часа приятным прохладным вечером, могут получать точно такую же плату, как и те, кто целый день трудится в поте лица под нещадно палящим солнцем. Но почему бы им и не получать ровно столько же? А возможно, ни те, ни другие вообще не заслуживают никакой платы. Или, может быть, это совсем не похожие, совершенно разные люди.

Христос терпеть не мог закоснелых, безжизненных, механических систем общественного устройства, которые относят людей к неодушевленным предметам, то есть относятся ко всем одинаково. Да разве может кто-нибудь быть похож на кого-то другого или, уж если на то пошло, что-нибудь похоже на что-то другое?! Для Него не было ни законов, ни правил, а лишь одни ис-

<sup>159</sup> «Domine, non sum dignus» – «Господи, я недостоин есмь» (лат.).

<sup>160</sup> «Как девчушка, что резвится, то смеясь, то горько плача» («Божественная комедия», Чистилище, песнь XVI; перевод цитируемой строки В. Чухно).

<sup>161</sup> Евангелие от Матфея, VI, 34, 25. Евангелие от Луки, VII, 47.

<sup>162</sup> Евангелие от Иоанна, VIII, 7.

ключения.

То, что является основополагающим принципом романтического искусства, было для Него основой реальной жизни. Это и был Его главный принцип. Когда привели к Нему женщину, повинную в прелюбодеянии, и напомнили Ему, какое наказание положено ей по закону, а затем спросили у Него, что с ней делать, Он, низко склонившись, был занят тем, что писал перстом на песке, словно и не слышал их. А когда они стали настаивать на ответе, спрашивая снова и снова, Он поднял голову и сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень».<sup>163</sup> Что ж, стоило жить уже хотя бы ради того, чтобы произнести эти слова.

Как и все поэтические натуры, Он любил людей простых и неграмотных. Он знал, что в душе такого человека всегда найдется место для великой идеи. Но он не выносил глупцов, и больше всего тех из них, чью глупость усугубило образование, – людей, напичканных предвзятыми мнениями, ни одного из которых они сами толком не понимают.

Об этом типе людей (увы, столь распространенном в наше время) Христос говорил так: они держат ключ к знанию, но не ведают, как его применить, и в то же время не отдают его другим людям, хотя ключом этим можно открыть врата Царствия Божьего.

Он боролся прежде всего с филистерами и фарисеями – это война, которую обязан вести каждый Сын Света. Филистерство было главной отличительной чертой того времени и того общества, в котором Он жил. Своей косностью и невосприимчивостью к новым идеям, своей скучной добропорядочностью, своей слепой приверженностью ко всему общепринятому, своим преклонением перед дешевым успехом, своей поглощенностью одной лишь приземленной, материальной стороной жизни, своим до нелепости преувеличенным мнением о себе и собственной важности иерусалимские иудеи времен Христа были как две капли воды похожи на британских обывателей наших дней. Христос беспощадно высмеивал эти «гробы повапленные»<sup>164</sup> мещанской респектабельности, и именно Он дал им это меткое прозвище, ставшее навеки крылатым.

К стремлению преуспеть в жизни он относился с абсолютным презрением. Он ни во что не ставил материальный достаток и считал богатство лишней обузой для человека. Он и мысли не допускал о том, что кто-либо должен приносить свою жизнь в жертву какой бы то ни было системе мышления или кодексу нравственных принципов. Он утверждал, что не человек существует для правил и формальностей, а правила и формальности существуют для человека.

Обязательное соблюдение субботы как священного дня отдохновения и другие подобного рода вещи не имели для Него никакого значения. Равнодушную благотворительность, показное милосердие, скучнейшие формальности, столь милые сердцу обывателя, – все это он разоблачал с величайшей страстностью. То, что мы называем общепринятыми традициями и что является для нас не более чем машинальным соблюдением необязательных для нас правил, во времена Христа было жестокой тиранией ортодоксальных канонов.

Христос с негодованием отвергал все это. Он показал людям, что единственной и подлинной ценностью для человека есть духовность. Ему доставляло подлинное удовольствие открывать людям глаза на то обстоятельство, что, хотя они и читают без конца Пятикнижие и Книги Пророков, они не имеют ни малейшего представления, о чем в этих писаниях идет речь.

В противовес тем, кто считал необходимым отводить каждый из дней недели на соблюдение рутинных, строго предписанных традициями обязанностей и делал это с той неукоснительностью, с какой платили тогда десятину с урожая мяты и руты, Он учил, как важно научиться всецело жить данным мгновением.

Спасенные Им грешные души были спасены именно за такие прекрасные мгновения в их

<sup>163</sup> Гроб повапленный – о ком – или чем-либо, скрывающем за внешне привлекательным видом самые отрицательные, дурные качества – от Евангельского сравнения лицемеров с гробами повапленными (т. е. побеленными), «которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всяческой нечистоты» (Евангелие от Матфея, XXIII, 27).

<sup>164</sup> Мария Магдалина – раскаявшаяся грешница, преданная последовательница Иисуса Христа, удостоившаяся первой увидеть его воскресшим. Включена христианской церковью в число святых.



жизни. Мария Магдалина,<sup>165</sup> увидев Христа, разбивает драгоценный алебастровый сосуд с миром,<sup>166</sup> подаренный ей одним из ее семерых любовников, и, бросившись к Нему, возливает благовонное миро на Его усталые, запыленные ноги, и за это прекрасное мгновение она была удостоена возможности вечно восседать рядом с Руфью и Беатриче в широко раскрывшейся снежно-белой Райской Розе.

Говоря нам, что каждое мгновение нашей жизни должно быть прекрасным, Христос дает нам понять, что душа наша всегда должна быть готова к приходу своего Нареченного, всегда должна надеяться услышать голос своего Избранника. Поскольку филистерство и фарисейство – это те стороны натуры человека, которые не озаряются воображением, Он все лучшее в человеке видит как проявление Света, а само воображение для Него – это Вселенский Свет (фь цѣт фл кьумпн кьхмпх), сотворивший наш мир. Но миру не подвластно постичь то, что сотворило его, ибо воображение – это просто проявление Любви, и лишь способность любить или не любить и отличает одного человека от другого.

Однако именно в своем отношении к Грешникам Он проявлял поистине романтическое, а значит, и подлинно реальное восприятие жизни. Мир всегда любил Святых, ибо они ближе всего подошли к Божьему совершенству, а Христос, по какому-то наитию свыше, всегда любил Грешников, ибо они ближе всего подошли к человеческому совершенству.

Он не стремился направлять людей на путь истинный и не старался избавлять их от страданий. Он не ставил себе целью превращать колоритных разбойников в скучных праведников. Общество Помощи Узникам и другие общества подобного типа, а также всяческие общественные движения, столь распространенные в наши дни, не вызвали бы у Него большого восторга.

Обратить Мытаря<sup>167</sup> в Фарисея – это не казалось ему таким уж великим свершением. Но непостижимым для тогдашнего человечества образом Он воспринимал грехи и страдания как нечто по самой своей сути прекрасное, святое и совершенное. Идея эта кажется нам очень опасной, и это неудивительно, ибо все великие идеи опасны. Нет никакого сомнения, что таковым было кредо Христа. Я абсолютно уверен, что в этом кредо и кроется истина.

Все мы прекрасно знаем, что грешники должны каяться. Но, собственно, почему? Да попросту потому, что иначе они не могли бы осознать, в чем состоят их прегрешения. Момент раскаяния – это момент приобщения к Богу. Более того, только так они могут изменить свое прошлое. Правда, греки считали, что сделать этого никто не может. Одна из их максим гласит: «Даже Боги не в состоянии изменить прошлое».

Однако Христос показал, что сделать это может даже самый закоренелый грешник – и это единственное, что он может сделать. Я совершенно уверен, что, если бы у Христа спросили, как это можно понять, Он бы ответил, что в тот самый момент, когда блудный сын<sup>168</sup> упал с рыданиями в ноги отцу своему, все, что с ним было в прошлом (и то, что он промотал свое состояние на падших женщин, и то, что после этого пас свиней и жил впроголодь, так что у него текли слюнки при виде пойла, которое они хлебали), преобразилось в его сознании в самые прекрасные и священные моменты его жизни.

Большинству людей трудно уяснить себе это. Мне думается, что для этого нужно оказаться в тюрьме. А если так, то хотя бы ради этого стоит попасть в тюрьму.

Личность Христа была единственной и неповторимой. Конечно, случаются ложные рассветы, прежде чем наступает настоящий рассвет, и бывают зимние дни, которые вдруг наполняются

<sup>165</sup> Мир – благовонное масло; употребляется при некоторых христианских обрядах.

<sup>166</sup> Уайльд помещает Марию Магдалину в Рай, где, в соответствии с «Божественной комедией» Данте («Рай», песни 30–32), в небесном амфитеатре, уподобленном поэтом раскрывшейся розе, восседают в белых одеждах души, достигшие райского блаженства, и среди них Руфь, прародительница царя Давида, и Беатриче, возлюбленная Данте.

<sup>167</sup> Мытарь – в библейских текстах название сборщика податей, откупщика в Древней Иудее.

<sup>168</sup> Блудный сын – согласно евангельской притче, непокорный сын, ушедший из родительского дома, но после нескольких лет скитаний и распутной жизни с раскаянием вернувшийся к отцу.

неожиданно ослепительным солнцем, так что обманутый крокус принимается расточать свое золото до времени, а какая-нибудь глупая птичка, поверив в приход весны, начинает звать свою пару и строить гнездо на голых ветвях, – подобно этому встречались христиане и до Христа, и это делает честь человечеству.

Но вся беда в том, что после Него настоящих христиан уже не было, за исключением одного лишь святого Франциска Ассизского. Но ведь этот святой получил при рождении душу поэта в дар от Господа и еще в ранней юности обручился с Нищетой, сочетавшись с ней мистическим браком. Обладая душой поэта и телом нищего, он не встретил трудностей на пути к совершенству. Он постиг Христа и уподобился ему.

Нам не нужно читать *Liber Conformitatum*,<sup>169</sup> чтобы узнать, что жизнь Св. Франциска была истинным *Imitatio Christi*,<sup>170</sup> что она была поэмой, в сравнении с которой книга, носящая то же название, воспринимается как приземленная проза.

Во всем этом и заключается обаяние Христа. Да он и сам подобен произведению искусства. В сущности, Он никого ничему не учит, но, оказавшись в его присутствии, становишься каким-то иным. А оказаться в его присутствии предначертано каждому из нас. И хотя бы один раз в жизни каждый из нас идет вместе с Иисусом в Эммаус.<sup>171</sup>

Выбор другой из названных мною двух тем, с помощью которых мне хотелось бы себя выразить, а именно «Жизнь художника в соотношении с его поступками», несомненно, покажется тебе странным. Люди показывают на Редингскую тюрьму и говорят: «Вот куда может привести человека жизнь художника». Что ж, она может привести в места и похуже.

Те из людей, кто больше похож на механизмы, чем на живых существ, то есть те, кто строит свою жизнь на скрупулезном и точном расчете, всегда знают, куда идут, и всегда приходят туда, куда шли. Скажем, кто-нибудь из них, начиная свой жизненный путь, хочет стать секретарем прихода,<sup>172</sup> и вот в дальнейшем, на какое бы место ни пыталась поставить его жизнь, он все равно становится секретарем прихода. Если же кто-нибудь из разряда таких людей стремится занять то место в жизни, для которого он по своей природе не предназначен, – например, хочет стать членом парламента, или преуспевающим торговцем бакалейными товарами, или известным адвокатом, или судьей, или кем-то иным из ряда столь же важных, но скучных профессий, – то он все равно своего добивается, и в этом его наказание. Те, кому хочется надеть маску, вынуждены потом ходить в ней всю жизнь.

Но те, кем движет непредсказуемая энергия жизни, ведут себя совершенно иначе. Люди, чьим единственным желанием является развитие своих природных способностей и самореализация, никогда не знают, куда идут. Они просто не могут этого знать. В некоторых отношениях человеку действительно необходимо, как выразился один греческий оракул, «познать самого себя». В этом, собственно, и заключается первая ступень познания.

Но высшая ступень Мудрости – это осознание того, что душа человека непознаваема, а величайшая из всех тайн – сам человек. Он может взвесить на весах Солнце, рассчитать ход луны и нанести на карту все семь небесных сфер,<sup>173</sup> звезда за звездой, но при этом все равно останется

---

<sup>169</sup> *Liber Conformitatum* – «Книга о подобию» (лат.) (полное название «Книга о подобию Христу св. Франциска»), авторство которой приписывается Варфоломею Пизанскому (? – 1401); впервые опубликована в 1510 г.

<sup>170</sup> *Imitatio Christi* – «Подражание Христу», популярное изложение христианского учения, созданное на рубеже XIV–XV вв. и приписываемое разным авторам, в том числе немецкому монаху и богослову Фоме Кемпийскому (1380–1471)(лат.).

<sup>171</sup> Эммаус – селение неподалеку от Иерусалима, где Христос в день своего воскресения преломлял хлеб со своими двумя учениками, которых он нагнал по пути из Иерусалима (Евангелие от Луки, XXIV, 13–15).

<sup>172</sup> Секретарь прихода – чиновник, который ведет церковные книги в приходе; назначается из числа мирян приходским священником.

<sup>173</sup> Согласно христианскому вероучению, небеса, место обитания праведников, состоят из семи сфер.

сам для себя загадкой. Кто может вычислить орбиту собственной души? Когда сын Киса<sup>174</sup> пошел искать ослиц своего отца, он еще не знал, что его ожидает человек Божий,<sup>175</sup> чтобы помазать его на царство, и что душа его уже стала Царственной Душой.

Я надеюсь прожить достаточно долго, чтобы успеть создать такое творение, которое на исходе моих дней дало бы мне основание с гордостью сказать: «Да, вот на какие вершины приводит человека жизнь художника».

Я могу назвать двух человек, которые прожили, на мой взгляд, самую совершенную жизнь: это Верлен и князь Кропоткин, проводившие в тюрьме долгие годы,<sup>176</sup> причем первый из них – единственный христианский поэт после Данте, а второй обладал душой, вместившей в себя прекрасный и чистый образ Христа, словно пришедшего к нам из России.

В последние семь или восемь месяцев, несмотря на беспрерывные беды, атаковавшие меня одна за другой из внешнего мира, я почувствовал, что в нашей тюрьме воцарился какой-то новый дух, какая-то новая атмосфера, и это проявлялось и проявляется как в людях, так и во всем остальном. Мне стало настолько легче дышать, что я просто передать тебе не могу.

И если в первый год заключения я только и знал, что ломал в бессильном отчаянии руки, беспрестанно твердя: «Какой финал! Какой ужасный финал!» (я не помню, чтобы я занимался хоть чем-то другим), то теперь я постоянно себе повторяю (и вполне искренне, особенно когда меня не терзают мысли о какой-нибудь новой свалившейся на меня беде): «Какое начало! Какое великолепное начало!». Как знать, может быть, это так и есть. Может быть, это и станет началом. И если этому суждено сбыться, то во многом благодаря тому, кто не так давно появился у нас и сумел за короткое время изменить жизнь каждого человека в этой тюрьме.<sup>177</sup>

Вещи сами по себе не имеют большого значения; более того (и нужно хоть в этом случае сказать метафизике спасибо за то, что она нам это открыла) – вещи как таковые на самом деле не существуют.

Дух вещей и явлений – вот что по-настоящему важно. Наказанию можно подвергать таким образом, чтобы оно не наносило раны, а исцеляло.

Ведь и милостыню можно подать так, чтобы хлеб обратился в камень в руке дающего.

Ты сможешь понять, какие огромные наступили здесь перемены (не в тюремном уставе, ибо он зиждется на железных правилах, а в самом духе, использующем устав как свое выражение), если я скажу тебе, что, выйди я отсюда в мае прошлого года – на что мне тогда так хотелось надеяться, – я покинул бы тюрьму с чувством жгучей ненависти и к ней, и ко всем, кто в ней служит, и это отравляло бы мне жизнь до конца моих дней.

Мне пришлось провести в заключении еще один год, но за это время рядом с нами поселился дух Человечности, и теперь, когда бы я ни вышел отсюда, мне уже никогда не забыть той великой доброты, которую проявляли здесь ко мне почти все, и в день своего освобождения я буду благодарить их за это и просить не забывать меня, как и я не забуду их.

Наша тюремная система вопиюще несправедлива. Я отдал бы все на свете, чтобы изменить ее, и намерен приложить максимум усилий, чтобы добиться этого, когда окажусь на свободе. Но все же должен заметить, что вряд ли в нашей жизни существуют вещи настолько несправедли-

---

<sup>174</sup> Сын Киса – первый израильский царь Саул, основавший в XI в. до н. э. Израильско-Иудейское царство. Его отец Кис был богатым и знатным человеком. (Ветхий Завет, Первая книга Царств, IX–X.)

<sup>175</sup> Человек Божий – Самуил, который получил повеление Господа поставить царем Израилевым Саула, сына Киса.

<sup>176</sup> Французский поэт Поль Верлен был приговорен в 1873 г. к 2 годам тюремного заключения за покушение на жизнь своего друга А. Рембо, из-за которого распался брак Верлена; русский анархист князь П. А. Кропоткин (1842–1921) был в 1874 г. арестован за революционную пропаганду, но в 1876 г. бежал за границу; неоднократно изгонялся из разных стран, был осужден за революционную деятельность и с конца 1882 г. по 1886 г. сидел во французских тюрьмах, после чего поселился в Лондоне.

<sup>177</sup> Речь идет о майоре Дж. Нельсоне, назначенном новым начальником Редингской тюрьмы; Уайльд о нем говорил: «Самая благородная душа, которую мне доводилось встречать».

вые, чтобы дух Человечности, являющийся в то же время духом Любви и Христианским духом (тем, что обитает вне храмов), не смог бы исправить их, а если и не исправить, то, по крайней мере, сделать так, чтобы можно было бы их выносить, не ожесточаясь сердцем.

За стенами тюрьмы меня ждет много чего замечательного, начиная с «братца моего ветра» и «сестрицы моей реки» (если называть эти две божественные стихии теми именами, какие дал им святой Франциск Ассизский) и кончая витринами магазинов и закатами в больших городах.

Попытайся я перечислить все те возможности, которые лежат передо мной после выхода на свободу, я очень скоро сбился бы со счета – ведь Бог сотворил этот мир точно так же для меня, как и для всех остальных.

Быть может, я выйду отсюда, обогащенный чем-то, чего мне раньше не доставало. Нужно ли тебе говорить, что реформаторство в нравственной области представляется мне столь же бессмысленным и вульгарным делом, как реформаторство в области религиозно-церковной.

Если кто-то надеется переделать себя и стать лучше, чем он был до сих пор, то он невежда или глупец, но сделаться человеком более глубоким – это вполне достижимо, особенно для тех, кто много страдал.

Мне кажется, именно таким я и стал. Да ты и сам можешь судить об этом. Если после моего выхода из тюрьмы кто-нибудь из моих друзей не пригласит меня на устроенную им пирушку, я ничуть не обижусь. Я могу чувствовать себя вполне счастливым, оставаясь наедине с собой. У меня будут книги, цветы, луна, а главное, свобода – что еще нужно для полного счастья? Кроме того, пирушки и вечеринки теперь уже не для меня. Да я и сам их так много устраивал, что навсегда пресытился ими. С этой стороной жизни, слава Богу, покончено.

Но если после того, как я окажусь на свободе, кого-нибудь из моих друзей постигнет горе и он не позволит мне разделить его с ним, это причинит мне огромную боль. И если передо мной захлопнутся двери дома, где поселилась скорбь, я все равно буду возвращаться туда снова и снова, умоляя разрешить мне войти, чтобы я мог сопереживать вместе с другом его беду, ибо я страдал право на это.

А если он сочтет меня недостойным разделить с ним его печаль, я восприму это как величайшее унижение и буду чувствовать себя опозоренным. Но такое попросту невозможно. Я заслужил право делить с людьми их невзгоды и уверен, что, если кому-нибудь из нас дано видеть красоту нашего мира и в то же время сопереживать вместе с ближними их скорби, если кто-нибудь из нас может воспринимать и то, и другое как чудо, – значит, он получает доступ к Божественному и оказывается так близок к разгадке тайны нашего Господа, как только это может быть позволено смертному.

Возможно, в моем творчестве, так же как и в моей жизни, зазвучит никогда ранее не звучавшая проникновенная нота, передающая особую гармонию страстей и эмоций, свежесть и непосредственность восприятия. Не в широте, а в силе и глубине изображаемого состоит истинное назначение современного Искусства.

Нас, людей Искусства, больше не интересует типичное. Нас привлекает лишь исключительное. Я не могу изображать свои страдания в той форме, в которой они имели место в реальности. Искусство начинается только тогда, когда кончается слепое подражание жизни.

Мое творчество должно приобрести какой-то новый характер – возможно, через более полную гармонию выражений и слов, через более богатый ритм, через необычную цветовую гамму, через более строгую и простую архитектуру и, самое главное, через совершенно новую эстетику.

После того как Марсий был «извлечен и выброшен из оболочки тела»<sup>178</sup> – *dalla vagina delle membra sue* (самые страшные, самые тацитовские<sup>179</sup> слова, какие только можно найти у Данте), – он, как говорят нам древние греки, больше песен не пел.

<sup>178</sup> «Божественная комедия», «Рай», Песнь 1 (пер. Мих. Лозинского).

<sup>179</sup> Тацит (ок. 58–ок. 117) – римский историк; главные труды посвящены истории Рима, а также общественному устройству и быту германцев.



В музыкальном состязании между Марсием и Аполлоном победу одержал Аполлон. Кифара победила флейту.

Но, может быть, древние греки ошибались? Ведь плач Марсия так часто слышен в современном Искусстве. У Бодлера он полон горечи, у Ламартина<sup>180</sup> – нежности и тоски, у Верлена – туманной мистики. Он звучит в исполненной мечтательности и сомнений музыке Шопена. Его отголоски – в тревожном выражении на лицах бёрн-джонсовских женщин. Даже у Мэтью Арнолда (который в своей песне о Калликле воспекает «триумф волшебной, сладкозвучной лиры» и «славную последнюю победу»<sup>181</sup> в исполненных возвышенной красоты строках, написанных в удивительно лирическом и чистом ключе) есть немало творений, проникнутых тревожным отзвуком сомнения и отчаяния, в которых явственно слышен плач Марсия.

Ни Гете, ни Вордсворт не могли исцелить своей лирой Арнолда, хотя он и следовал в своем творчестве сначала одному, а затем и другому, и когда он оплакивает «Тирсиса» или воспекает «Бродячего школяра»,<sup>182</sup> то, выводя свою мелодию, он берет в руки именно флейту Марсия.

Не знаю, умолк ли фригийский сатир<sup>183</sup> или нет, но я не могу молчать. Выражать себя мне так же необходимо, как черным ветвям деревьев, выглядывающим из-за тюремной стены и беспрерывно раскачивающимся на ветру, необходимо по весне одеваться листвою. Между мной как художником и всем остальным миром лежит глубокая пропасть, но между Искусством и мною нет даже малейшей трещины. По крайней мере, мне хочется на это надеяться.

Нам с тобою выпали разные жребии. Свобода, наслаждения, развлечения, легкая жизнь – вот что тебе досталось в удел, причем незаслуженно. Мне же на долю выпало нечто иное: публичный позор и бесчестье, долгие годы в тюрьме, мучительные страдания, полное разорение, – и, заметь, я тоже этого не заслуживаю (по крайней мере, я так считаю).

Помню, я как-то кому-то сказал, что сумел бы вынести любую трагедию, если она придет ко мне в пурпурной мантии и с маской возвышенной скорби на лице, но долго не выдержу, если она явится в фиглярском наряде и с шутовским колпаком на голове.

Самая ужасная черта нашего времени – это то, что оно наряжает Трагедию в фиглярское платье Комедии, придавая всему великому в жизни налет вульгарности, шутовства и дурного вкуса. Хотя, пожалуй, это относится не только к современности, но и ко всем временам и векам. Недаром ведь говорят, что со стороны любые трагедии кажутся мелодрамами. И XIX век не представляет собой исключения из этого общего правила.

В моей трагедии все было вульгарным, отвратительным, мерзким, лишенным всякого вкуса. Наша одежда – и та делает из нас шутов. Мы – паяцы страдания. Мы – клоуны с разбитыми сердцами. Наше назначение в том, чтобы потешались над нами. 13 ноября 1895 года меня привезли сюда из Лондона. С двух часов до полтретьего я вынужден был красоваться на главной платформе Клапамского железнодорожного узла<sup>184</sup> в облачении преступника и в наручниках, и каждый, кому не лень, глазел на меня (дело в том, что меня увезли из тюремной больницы без всякого предупреждения). Я представлял собой самое дурацкое зрелище. Глядя на меня, люди откровенно смеялись. А между тем с прибытием каждого нового поезда толпа разрасталась все больше. Веселье публики не знало границ. Причем люди еще не знали, кто я такой. А когда узнали, стали смеяться еще громче. Так я и простоял все эти полчаса в гуще толпы под свинцовым ноябрьским дождем, подвергаемый насмешкам и издевательствам.

<sup>180</sup> Альфонс Ламартин (1790–1869) – французский поэт-романтик; для его поэзии характерны размышления о Боге, смерти, смирении, бренности жизни, стремление к «небесной» гармонии.

<sup>181</sup> Калликл – герой одноименной поэмы М. Арнолда, молодой арфист. Обе цитаты из песни о Калликле.

<sup>182</sup> «Тирсис», «Бродячий школяр» – поэмы М. Арнолда, написанные в жанре пасторальной элегии.

<sup>183</sup> Т.е. Марсий.

<sup>184</sup> Клапамский железнодорожный узел – один из крупнейших железнодорожных узлов Великобритании; расположен в южной части Лондона.

Целый год после этой унижительной сцены я не мог удержаться от слез, когда наступал этот час. Я горько плакал, представляя себя в кругу толпы на перроне, плакал ежедневно и на протяжении одного и того же времени – этого злополучного получаса. Плачу я здесь не только по такого рода прискорбным поводам, как ты можешь подумать. Для тех, кто сидит в заключении, слезы – обычное дело. И если кто-то из нас не плачет в тюрьме, то это не означает, что у него на сердце легко; это значит, что сердце его очерствело и ожесточилось.

Но теперь, по прошествии многих месяцев, я жалею не себя, а скорее тех, кто надо мной потешался. Конечно, я понимаю, что увидели они меня далеко не на пьедестале. Напротив, я был пригвожден к позорному столбу, выставлен на посмешище. И все же должен сказать, что только люди, начисто лишённые воображения, преклоняются перед одними лишь теми, кто высится на пьедестале. Ведь пьедесталы могут быть выдумкой, тогда как позорный столб – это реальность. Этим людям следовало бы понимать, что такое страдание.

Я уже говорил тебе, что за Страданием не кроется ничего, кроме Страдания. Но можно сказать и иначе – за страданием всегда кроется живая душа. А глумиться над страждущей душой – что может быть ужаснее этого! И поистине убога жизнь тех, кто на такое способен. В нашем мире действует удивительно разумный закон: люди получают от других только то, что сами дают другим. Те, кому не хватает воображения, чтобы сквозь внешнюю оболочку проникнуть в сущность вещей и почувствовать жалость к ближнему, – могут ли они сами рассчитывать на жалость к себе или на какое-нибудь иное чувство, кроме презрения?

Рассказал я о том, как меня сюда доставляли, лишь затем, чтобы ты лучше представил себе, насколько мне трудно извлекать из своего наказания что-либо иное, кроме горечи и отчаяния. И все же ничего другого мне попросту не остается, и уже сейчас бывают минуты, когда на меня нисходят кротость и смирение.

В одном цветочном бутоне может таиться все буйство весны, а в гнездышке жаворонка на земле – все ликование расцветающей жизни, возвещающее приход великого множества розово-алых утренних зорь. Так и для меня в одном мгновении покорности, кротости и смирения кроются все оставшиеся мне прекрасные дни жизни. Во всяком случае, я могу жить дальше, лишь повинувшись логике дальнейшего развития своей личности и с достоинством приняв все то, что выпало на мою долю.

Меня всегда считали индивидуалистом. Теперь я стану им даже в большей степени, чем когда-либо ранее, ибо в дальнейшем мне придется рассчитывать на одного лишь себя, и просить кого-то о помощи я больше не собираюсь. Ведь причиной всех моих бед был не избыток индивидуализма, а скорее его недостаток. Я совершил поистине непростительную, постыдную и достойную всяческого презрения ошибку, дав уговорить себя обратиться к нашему Обществу с просьбой защитить меня от твоего отца. А ведь будь я настоящим индивидуалистом, да если еще учесть необузданный нрав и непорядочность твоего папаши, я никогда бы не сделал этого.

Но стоило мне обратиться за помощью к Обществу, как Общество, в свою очередь, обратилось ко мне, спросив у меня: «Разве ты всю свою жизнь не попирали моих законов? И разве не естественно, что теперь, когда ты вызываешь за защитой к тем же законам, я собираюсь применить их к тебе? Так будь же судим по тем нормам и правилам, к которым ты прибегаешь за помощью». В результате я был брошен в тюрьму. До чего же нелепым и унижительным казалось мне положение, в котором я очутился! До чего отвратительно было смотреть, как твой отец в течение всех трех судебных процессов, начиная с самого первого в полицейском суде, то и дело вбегал и выбегал из зала суда, стараясь привлечь к себе внимание публики, как будто кто-нибудь мог и без того не заметить этой его медвежьей, как у конюха, походки, этого плебейского одеяния, этих кривых ног, этих подергивающихся рук, этой отвисшей нижней губы, этой скотской, слабоумной усмешки.

Я чувствовал его присутствие даже тогда, когда его не было в зале или когда он сидел где-нибудь вне пределов моей видимости, и подчас мне мерещилось, что с голых стен огромного, мрачного зала и даже просто из воздуха на меня взирают тысячи обезьяноподобных физиономий твоего отца. Да-а, никто и никогда не падал так низко, как я, да еще от толчка таких грязных рук. Помнится, я когда-то сказал – кажется, в «Дориане Грее», – что «врагов нужно выбирать себе с

особенной тщательностью». Я и думать тогда не мог, что стану отщепенцем и что сделает им меня тот, кто и сам отщепенец.

Ты с невероятной настойчивостью убеждал меня обратиться за помощью к Обществу, и это одна из главных причин, по которой я презираю тебя, но себя я презираю не меньше. Я простить себе не могу, что поддался на твои уговоры.

Ты не очень-то ценил меня как художника, и это можно понять. Так уж ты устроен природой. Это от тебя не зависело. Но ты мог бы, по крайней мере, заметить, что по натуре своей я индивидуалист, и должен был относиться к этому с уважением. Для этого особой культуры не требуется. Однако ничего подобного ты во мне не увидел, а потому постоянно вносил в мою жизнь дух обывательщины и мещанства, то есть тот дух, который я терпеть не могу и от которого всегда старался себя ограждать.

Обывательщина – это не просто неумение понимать Искусство. Такие прекрасные люди, как рыбаки, пастухи, пахари, крестьяне и другие простые души, ведать не ведают об искусстве, а они ведь соль нашей земли. Нет, обыватели – это те, на кого опираются самые закоснелые, самые слепые, самые бездуховные силы Общества и кто не способен распознать что-либо творческое и живое ни в человеке, ни в его деяниях.

Многие считали, что я поступаю ужасно, приглашая к себе на обеды всяческое отребье, да еще получая удовольствие от общения с ними. Но с точки зрения художника эти люди были чрезвычайно интересны: они стимулировали мое творчество. Я как бы пиршествовал в обществе свирепых пантер. Опасность придавала особую остроту этим сборищам. Я чувствовал себя заклинателем змей, выманивающим из-под пестрого куска ткани или из плетеной тростниковой корзины ядовитую кобру и заставляющим ее по команде раздуть свой капюшон и медленно раскачиваться из стороны в сторону, подобно колеблемой течением водоросли.

Они казались мне восхитительными, они завораживали меня. Смертоносность их яда делала их еще более совершенными. Мог ли я тогда знать, что наступит такой час, когда они атакуют меня, закливаемые звуками твоей дудки и шелестом денег твоего отца?!

Но я вовсе не сожалею, что водил с ними компанию, и не стыжусь этого. Мне было необыкновенно интересно проводить время в их обществе. Стыжусь я скорее того, что по твоей милости оказался в затхлой, мещанской атмосфере, которую я так ненавижу. Мне, как человеку Искусства, следовало водиться с Ариэлем.<sup>185</sup> Ты же заставил меня схватиться с Калибаном.<sup>186</sup> И вместо того чтобы создавать такие красочные, музыкальные вещи, как «Саломея», «Флорентинская трагедия» и «La Sainte Courtisane», я вынужден был составлять вместе с адвокатом длиннейшие письма твоему отцу и посвящать свое время тому, что по сути своей было мне отвратительно.

Клибборн и Аткинс<sup>187</sup> вызывали у меня своего рода восхищение тем, насколько упорно вели они борьбу за свое выживание, хоть и не гнушались при этом никакими средствами. Встречаться с ними на моих званных обедах было одно удовольствие. На моем месте и Дюма-отец, и Челлини, и Гойя, и Эдгар Аллан По, и Бодлер вели бы себя точно так же. А вот чего я не могу вспоминать без удручающего чувства тоски, так это наших с тобой бесконечных визитов к Хамфризу, моему поверенному. Мы сидели в его унылом, с кричащей безвкусицей оформленном кабинете и с самым серьезным видом лгали этому лысому человеку; продолжалось это так долго, что, больше не в силах сдерживаться, я начинал тяжело вздыхать и зевать от ennui.<sup>188</sup>

Вот куда я попал после двухлетней дружбы с тобой – в самый центр Страны Фарисеев и Обывателей, оказавшись за тридевять земель от всего того, что есть в жизни прекрасного, ярко-

<sup>185</sup> Ариэль – дух воздуха в пьесе Шекспира «Буря».

<sup>186</sup> Калибан – полузверь, получеловек в той же пьесе.

<sup>187</sup> Клибборн, Аткинс – шантажисты, лжесвидетельствовавшие на суде против Уайльда и оба угодившие за это в тюрьму.

<sup>188</sup> Ennui – скука (фр.).

го, необыкновенного, дерзкого и блистательного. Закончилось это тем, что мне пришлось (опять-таки по твоей милости) выступать в роли поборника Респектабельности в поведении, Пуританства в жизни и Нравственности в Искусстве. *Voilà* ош минент les mauvais chemins!<sup>189</sup>

Но больше всего меня поражает то, что ты так старался походить на отца. Я не могу себе уяснить, почему он был для тебя образцом, вместо того чтобы стать предостережением. Впрочем, когда двое ненавидят друг друга, между ними часто возникает некий союз или своего рода братство. На мой взгляд, это объясняется каким-то странным законом взаимной антипатии тех, кто подобен друг другу.

Ненависть между вами возникла не оттого, что вы в чем-то несхожи, а именно потому, что вы столь многим похожи.

Когда в июне 1893 года ты покинул Оксфорд без диплома, зато с кучей долгов, в общем-то пустяковых, но весьма ощутимых для твоего отца с его небольшими средствами, он написал тебе крайне грубое и оскорбительное письмо. Посланный тобою ответ был даже более грубым и оскорбительным, чем его собственное послание, и, конечно, особых оснований хамить отцу у тебя не было, но именно поэтому ты так гордился своим поступком.

Я очень хорошо помню, с каким самодовольным видом ты заявил мне, что можешь побить отца его же оружием.

Да, ты действительно смог. Но каким оружием! И направленным против кого! Сколько раз ты смеялся над своим отцом за то, что тот решил выехать из дома твоего двоюродного брата, где проживал какое-то время, специально с той целью, чтобы поселиться в соседней гостинице и посылать ему оттуда грязные письма. Но сам ты поступал со мной точно так же. Обедая со мной в каком-нибудь ресторане, ты ни с того ни с сего начинал на меня дуться или устраивал мне бурную сцену, после чего отправлялся в клуб «Уайте» и писал мне там письмо самого мерзостного содержания.

Однако в одном ты все-таки отличался от папочки: отослав мне с нарочным свое письмо, ты несколько часов спустя самолично являлся ко мне на квартиру, но не с извинениями, а лишь для того, чтобы справиться, заказал ли я ужин в «Савое», а если нет, то упрекнуть меня за то, что я до сих пор не сделал этого.

Случалось, что ты являлся даже раньше, чем я успевал прочесть твое оскорбительное послание.

Помню, как-то раз ты попросил меня пригласить на обед в ресторан «Кафе-Ройял» двух твоих приятелей, один из которых был мне незнаком. Так я и сделал, заранее заказав, по твоей настоятельной просьбе, самые изысканные и роскошные блюда.

Помню также, что вызывали шеф-повара, которому были даны подробнейшие указания насчет вин. Но ты на обед не явился, а прислал мне в ресторан ужасно грубое письмо, причем специально так рассчитал, чтобы его принесли не раньше, чем спустя полчаса после нашего с твоими друзьями прихода. Пробежав глазами первую строчку, я сразу же понял, какого рода это письмо, и, положив его в карман, объяснил твоим приятелям, что ты неожиданно заболел и что в остальной его части описываются симптомы твоей болезни.

Полностью я прочел твое послание только вечером, у себя дома на Тайт-стрит, когда переодевался к ужину. То, что я читал, более всего напоминало болотную грязь, и как раз в тот момент, когда я добрал до середины этой трясины, с бесконечной грустью спрашивая себя, какая злая сила заставляет тебя писать подобные письма, сравнимые разве что с пеной на губах эпилептика, вошел слуга и доложил, что ты ждешь в прихожей и просишь уделить тебе пять минут, так как тебе срочно нужно поговорить со мной.

Я сказал слуге, чтобы он пригласил тебя подняться ко мне наверх. Когда ты вошел, я сразу обратил внимание, каким перепуганным и бледным ты выглядишь. Без всяких предисловий ты стал умолять меня о совете и помощи, поскольку тебе сообщили, что тебя разыскивает какой-то

<sup>189</sup> *Voilà* ош минент les mauvais chemins! – «Куда приводят дурные пути» (название третьей части романа Оноре де Бальзака «Блеск и нищета куртизанок», в которой трагически завершается история Люсьена де Рюампре, одного из любимых литературных героев Уайльда)(фр.).



человек из Ламли, по всей видимости поверенный, и что он приходил к тебе в отель «Кэдоган», где ты тогда проживал.

Ты боялся, что могло всплыть наружу то старое оксфордское дело или что тебе грозят какие-нибудь новые неприятности.

Я стал тебя успокаивать («Должно быть, тебе приносили счет от какого-нибудь торговца, не более», – сказал я тебе; так оно, кстати, и оказалось) и в конце концов оставил тебя ужинать.

Весь тот вечер ты провел у меня, но ни словом не обмолвился о своем чудовищном письме; впрочем, я тоже не упоминал о нем. Я решил отнестись к нему просто как к очередной вздорной выходке человека, наделенного, к его несчастью, вздорным характером. Мы никогда больше не затрагивали эту тему. Написать мне оскорбительное письмо в 2.30 и примчаться ко мне за советом и помощью в 7.15 того же дня – для тебя такие вещи были обычным делом. В этом отношении, как и во многих других, ты перешеголял даже своего отца.

Когда на открытом судебном заседании зачитывали его отвратительные письма к тебе, ему, естественно, стало стыдно перед людьми и он начал лить крокодиловы слезы. Но если бы его адвокаты зачитали те письма, которые он получал от тебя, всеобщий ужас и отвращение были бы во сто крат больше. Ты не только «побил отца его же оружием» в отношении «изящества» стиля, но и далеко превзошел его в приемах борьбы.

Например, ты прибегал к таким видам корреспонденции, как почтовые открытки и телеграммы, текст которых является, в сущности, достоянием широкой публики. Я считаю, что подобные методы делать пакости людям ты бы лучше оставил субъектам вроде Альфреда Вуда,<sup>190</sup> для которого это был единственный источник доходов. Разве ты со мной не согласен? То, что для него и подобных ему являлось своего рода профессией, было для тебя удовольствием, причем самого низкого пошиба.

От своей ужасной привычки писать оскорбительные письма ты не отказался даже после того, как над моей головой разразилась беда, причиной которой были, среди прочего, и эти твои послания. Ты до сих пор считаешь это чуть ли не величайшим своим достижением и продолжаешь упражнять свои таланты на моих друзьях, скрашивавших мою тюремную жизнь своим участием и добротой, – таких, как Роберт Шерард и другие.

Это крайне непорядочно с твоей стороны. Кстати, ты должен быть признателен Роберту Шерарду за то, что, узнав от меня о моем крайне негативном отношении к твоему намерению опубликовать в «*Meuse de France*» статью обо мне, будь то с моими письмами или без них, он вовремя довел это до твоего сведения и таким образом помешал тебе причинить мне – быть может, и ненамеренно – новую боль, вдобавок к той, что ты мне уже причинил.

Ты должен учитывать, что письма в редакцию, написанные с точки зрения обывателя в таком покровительственно-снисходительном тоне и внушающие читателю, как важно придерживаться правил «честной игры» по отношению к человеку, «который очутился в нокдауне», конечно, вполне приемлемы и даже привычны для английских газет; более того, публикация таких писем – это, в сущности, продолжение старинных традиций английской прессы, с незапамятных времен относившейся к художникам свысока.

Но во Франции такой тон вызвал бы лишь насмешки надо мной и презрение к автору письма, то есть, в данном случае, к тебе. Я не мог допустить публикацию статьи о себе, предварительно не узнав, в каком ключе она написана, с какой целью, с каких позиций – ну и так далее. Благие намерения ничего не стоят в искусстве. Все, что есть бездарного в искусстве, создавалось с самыми благими намерениями.

Роберт Шерард – не единственный из моих друзей, кому ты писал желчные, злые письма, раздосадованный тем, что они, эти по-настоящему преданные мне друзья, считали, что во всех делах, касающихся меня лично, нужно прежде всего принимать во внимание мои чувства и мое волеизъявление, будь то публикация статей обо мне, посвящение мне стихов или возвращение мне моих писем и подарков. Ты страшно злился на них за это.

Приходило ли тебе в голову, каким ужасным было бы мое положение, если бы эти два по-

<sup>190</sup> Альфред Вуд – шантажист, дававший на суде показания против Уайльда.

следние года, полные тягот тюремного заключения, я полагался бы только на тебя и твою дружбу? Ты хоть раз подумал об этом? Испытывал ли ты хоть какое-то чувство благодарности к тем, кто все это время облегчал тяжкое бремя моих страданий своей безграничной добротой, беззаветной преданностью, неугасимым оптимизмом и всегдашней готовностью помочь?

В состоянии ли ты понять, как много делали для меня те, кто столько раз навещал меня здесь, писал мне прекрасные, полные сочувствия письма, приводил в порядок мои расстроенные дела, занимался организацией моей будущей, послетюремной, жизни, оставался неизменно мне преданным, несмотря на целый град поношений, насмешек, неприкрытых издевательств и даже оскорблений, сыпавшийся на мою голову?

Я не устаю благодарить Господа за то, что он дал мне настоящих друзей, столь на тебя непохожих. Им я обязан всем. Даже расходы на книги – все, что есть в моей камере, – и те оплатил из своих карманных денег Робби. На его же средства будет куплена для меня одежда, когда я выйду на волю. Мне не стыдно принимать от людей то, что они дают мне с любовью и от чистого сердца. Более того, я горжусь этим. Но задумывался ли ты хоть на минуту, чем были для меня все это время мои друзья – и Мор Эйди,<sup>191</sup> и Робби, и Роберт Шерард, и Фрэнк Харрис,<sup>192</sup> и Артур Клифтон?<sup>193</sup>

Можешь ли ты хоть отдаленно представить, какую огромную помощь, поддержку, любовь и сочувствие я от них получал?

Мне кажется, тебе это и в голову не приходило. А имей ты хоть каплю воображения, ты бы понял, что должен был бы почитать за особую честь, если бы любой из тех, кто был ко мне добр все эти тюремные годы, – и надзиратель, который неизменно говорил мне «доброе утро» и «спокойной ночи», хотя это не входило в его обязанности; и простые полицейские, которые в своей грубоватой манере старались подбодрить меня, видя, в каком подавленном состоянии я пребывал, когда меня таскали в Суд по делам о несостоятельности и обратно; и жалкий воришка, который, узнав меня, когда мы ходили по кругу во дворе Уондсвортской тюрьмы, прошептал мне хриплым «тюремным» голосом, появляющимся у заключенных от вынужденного длительного молчания: «Жаль мне тебя, горемычного: таким, как ты, видать, потруднее, чем нам, кто попроще», – так вот, повторяю, ты должен был бы почитать за особую честь, если бы кто-нибудь из этих людей позволил тебе опуститься перед ним на колени, чтобы счистить грязь с его башмаков.

Будь у тебя хоть капля воображения, ты мог бы в какой-то степени представить себе, до чего же страшной трагедией обернулась для меня встреча с твоим семейством. Это было бы трагедией для любого, кому есть что терять – высокое положение, громкое имя, все, что дорого для него. Едва ли найдется хоть кто-нибудь в твоём семействе – исключая разве что Перси:<sup>194</sup> он очень неплохой человек, – кто так или иначе не содействовал бы моей гибели.

Я уже упоминал на этих страницах о твоей матери, и, как ты, вероятно, заметил, не без горечи; так вот, я тебе очень рекомендую показать ей мое письмо – в первую очередь для твоего же собственного блага. И если ей будет больно читать этот обвинительный акт против одного из ее сыновей, напони ей, что моя мать (чей интеллектуальный уровень был не ниже, чем у Элизабет Барретт Браунинг,<sup>195</sup> но чья судьба оказалась не менее трагичной, чем у мадам Ролан<sup>196</sup>) угадала

<sup>191</sup> Мор Эйди (1858–1942) – английский журналист и переводчик.

<sup>192</sup> Фрэнк Харрис (1856–1931) – английский журналист и издатель; автор книг об Уайльде.

<sup>193</sup> Артур Клифтон (1862–1932) – адвокат; один из тех немногих друзей Уайльда, кто прислал венок в день его похорон.

<sup>194</sup> Перси Дуглас – второй сын маркиза Куинзбери и брат Альфреда Дугласа.

<sup>195</sup> Элизабет Барретт Браунинг (1806–1861) – английская поэтесса, жена известного поэта Роберта Браунинга; ее социальная поэзия тяготела к сентиментально-филантропической трактовке общественных проблем; писала также любовную лирику; автор стихотворного романа «Аврора Ли», посвященного теме женской эмансипации.

<sup>196</sup> Мадам Ролан (1754–1793) – жена министра внутренних дел, занимавшего этот пост в период Французской ре-

от горя, когда ее сын, чьим гением и творениями она так гордилась, кого считала достойным носителем нашего славного семейного имени, оказался за решеткой, приговоренный к двум годам исправительных работ.

Ты можешь спросить: а чем, собственно, твоя мать могла содействовать моей гибели? Что ж, я отвечу тебе. Подобно тому, как ты старался свалить на мои плечи всю ответственность за свои аморальные поступки, она старалась переложить на мои плечи всю свою ответственность за твой моральный уровень. Вместо того чтобы поговорить о твоём поведении лично с тобой, как и подобает матери, она тайком посылала мне письма, рассказывая о твоих предосудительных поступках и заклиная меня не выдавать ее.

Можешь себе представить, в каком положении я очутился, оказавшись между тобой и твоей матерью. Оно было таким же двусмысленным, абсурдным и трагическим, как и то положение, в которое я попал, оказавшись между тобой и твоим отцом. Дважды – в августе 1892 года и 8 ноября того же года – у нас с ней состоялись долгие и основательные беседы, темой которых был образ жизни, который ты вел. Оба раза я спрашивал у нее, почему она сама не хочет поговорить с тобой, и оба раза она отвечала: «Я боюсь: он ужасно сердится, когда с ним пытаешься заговорить о чем-то серьезном».

В первый раз я знал тебя еще мало и даже не понял, что она имеет в виду. Но во второй раз я знал тебя уже достаточно хорошо и прекрасно понял ее. (Между этими двумя встречами у тебя был приступ желтухи, и доктор рекомендовал тебе съездить на недельку в Борнмут;<sup>197</sup> ты уговорил и меня поехать с тобой, потому что не выносил одиночества.)

Матери не должны бояться говорить со своими сыновьями о чем бы то ни было. Если бы твоя мать откровенно поговорила с тобой о тех неприятностях, в которые ты попал в июле 1892 года, и если бы она вела разговор таким образом, чтобы ты доверился ей, в результате выиграли бы вы оба. Начав тайную переписку со мной, она совершила большую ошибку. Какой смысл было присылать мне все эти бесчисленные записочки, помеченные на конверте надписью «лично в руки» и содержащие просьбы не приглашать тебя так часто к обеду и не давать тебе денег?

Каждая такая записка неизменно заканчивалась словами: «P. S. Только прошу Вас, не говорите об этом письме Альфреду». Что хорошего могло выйти из такой переписки?

И разве ты нуждался в особых приглашениях к обеду? Об этом даже смешно говорить. Ты считал, что завтракать, обедать и ужинать со мной, – это твоя привилегия.

Когда я пытался протестовать, ты всегда недоуменно спрашивал: «С кем же мне еще обедать, как не с тобой? Неужели ты думаешь, что я стану обедать дома?». Что тут было тебе ответить? А в тех редких случаях, когда я проявлял твердость и наотрез отказывался приглашать тебя обедать со мной, ты угрожал мне какой-нибудь глупой выходкой и всегда исполнял свою угрозу.

Эта переписка с твоей матерью могла закончиться только тем, чем она и закончилась: вся моральная ответственность за твое поведение была, без всяких оснований и с роковыми последствиями для меня, переложена на мои плечи.

Не буду лишний раз перечислять те многочисленные случаи, когда проявленные твоей матерью слабость и малодушие приводили к неприятностям и для нее самой, и для тебя, и для меня, но скажи мне, почему, узнав, что твой отец неожиданно нагрянул ко мне домой и устроил грандиозный скандал, она не увидела в этом грозных симптомов близящейся драмы и не попыталась предотвратить ее?

Но она ничего лучшего не придумала, чем прислать ко мне этого сладкоречивого болтуна Джорджа Уиндема,<sup>198</sup> с тем чтобы тот уговорил меня... «постепенно от тебя отдалиться»! Как будто это было так просто – «постепенно от тебя отдалиться»! Чего я только ни перепробовал, чтобы положить конец нашей злосчастной дружбе! Я даже пошел на то, чтобы уехать из Англии,

---

волюции XVIII в.; в ее салоне в Париже собирались вожди жирондистов; казнена якобинцами.

<sup>197</sup> Борнмут – крупный курорт на южном побережье Англии.

<sup>198</sup> Джордж Уиндем – родственник Альфреда Дугласа, член парламента.

оставив неверный адрес, в надежде одним ударом перерубить все связывавшие нас узы, ставшие для меня тягостными, ненавистными и разрушительными.

Ты ведь и сам понимаешь, насколько это было для меня невозможно – «постепенно от тебя отдалиться». Даже в том случае, если бы мне это и удалось, неужели ты думаешь, что твой отец оставил бы меня в покое? Ты прекрасно знаешь, что нет. Не прекращения нашей дружбы, а публичного скандала – вот чего добивался твой отец, вот к чему он стремился. Ведь его имя годами не появлялось в газетах. И вдруг появилась такая прекрасная возможность предстать перед британской публикой в совершенно новом обличье – обличье любящего отца. Это возбуждало его извращенное чувство юмора.

Если бы мне и в самом деле удалось порвать с тобой всякие отношения, он был бы ужасно разочарован и его вряд ли утешила бы та дурная, но недолгая слава, которой он пользовался благодаря своему второму бракоразводному процессу, хотя истоки и подробности этого скандального дела были достаточно отвратительными, чтобы обеспечить ему достаточно большой успех.

Но он искал более широкой популярности, а самый верный способ стать настоящим героем в глазах нынешнего британского обывателя – это взять на себя роль «поборника нравственной чистоты» (так это сейчас называется). Именно обывателя имел я в виду, когда говорил в одной из своих пьес,<sup>199</sup> что если одну половину года он подобен Калибану, то во второй его половине он становится Тартюфом,<sup>200</sup> и твой отец, в котором нашли воплощение и тот и другой, получал – благодаря мне – возможность выступить в роли эдакого ревнителя пуританской морали в ее самом типичном и агрессивном проявлении. Так что никакое постепенное отдаление от тебя, будь оно даже возможно, не смогло бы остановить твоего отца.

Единственной эффективной мерой, к которой твоей матери следовало бы прибегнуть для предотвращения надвигающегося кризиса (и я надеюсь, ты согласишься со мной), было бы пригласить меня к себе домой и в присутствии сыновей – я имею в виду тебя и твоего старшего брата – твердо заявить, что нашей дружбе с тобой должен быть положен конец. Она нашла бы с моей стороны самую горячую поддержку и могла бы говорить с тобой без всякого страха, учитывая наше с Драмланригом присутствие.

Но она не сделала этого. Она побоялась принять на себя ответственность и предпочла переложить ее на меня.

И все же она написала мне одно письмо, которое содержало очень разумный совет. Оно было предельно кратким, и в нем она просила меня не отправлять твоему отцу письмо моего адвоката, в котором тот предупреждал его о последствиях, если он не отступится. Она была совершенно права.

Советоваться с адвокатами и просить у них защиты было с моей стороны и наивно, и глупо. Но всю пользу, которую можно было бы извлечь из ее письма, она свела на нет своей обычной припиской: «P. S. Только прошу Вас, не говорите об этом письме Альфреду».

Ты же от одной только мысли, что я буду посылать письма своих адвокатов твоему отцу и тебе, приходил в настоящий восторг. Собственно, это и была твоя идея. Я, к сожалению, не мог тебе сказать, что твоя мать категорически против этой затеи. Она связала меня торжественным обещанием никогда не упоминать о ее письмах ко мне, и я, как это ни глупо, не нарушил его – даже в этом критическом случае.

Ей не стоило избегать прямых разговоров с тобой. Ты не можешь этого не признать. Ее тайные, «с черного хода», встречи со мной и ее бесчисленные записки и письма, посылаемые мне тайком, за твоей спиной, – всем этим она не только тебе не помогала, но, напротив, усугубляла накапливающиеся проблемы.

Никто не может переложить свою ответственность на других.

Рано или поздно ответственность возвращается к тому, кто обязан ее нести.

---

<sup>199</sup> Речь идет о пьесе «Женщина, не стоящая внимания».

<sup>200</sup> Тартюф – герой одноименной комедии французского драматурга Мольера; Тартюф, человек безнравственный и лицемерный, прикрывается набожностью и показной добродетелью.



Твое единственное представление о жизни, твоя единственная философия (если слово «философия» вообще к тебе применимо) сводится к тому, что, по твоему глубокому убеждению, за все, что ты делаешь, в твоей жизни должен расплачиваться кто-то другой. Я говорю не об одних только деньгах, ибо в них проявляется лишь житейская, повседневная сторона твоей философии. Я вкладываю в эти слова более широкий и общий смысл, имея в виду, что ты всегда и во всем стараешься переложить свою ответственность на других. Это, если хочешь, и есть твое жизненное кредо. И ты с успехом воплощал и продолжаешь воплощать его в жизнь.

Когда ты убеждал меня возбудить против твоего отца судебное дело, ты прекрасно понимал, что лично тебе он ничего плохого делать не станет. Точно так же ты понимал, что, как бы ни обернулось дело, я буду защищать тебя до последнего и при необходимости возьму всю вину на себя. Ты был абсолютно прав. И твой отец, и я вели себя именно так, как ты рассчитывал, хотя, разумеется, по совершенно разным причинам.

И все-таки, несмотря на все это, тебе не удалось выйти полностью сухим из воды. «Феномен отрока Самуила» (назовем так для краткости сложившееся у многих о тебе представление как о чистом и добропорядочном юноше) срабатывает лишь тогда, когда речь идет о самой широкой публике.

Что касается Лондона, то в феномен этот мало кто может поверить, ну а в Оксфорде упоминание твоего имени рядом с именем отрока Самуила и вовсе вызовет презрительную улыбку. Но это лишь потому, что и в том, и в другом месте есть достаточно много людей, которые хорошо знают как тебя, так и следы, оставленные там твоим пребыванием. А весь остальной мир, вне сравнительно узкого круга в этих двух городах, видит в тебе славного молодого человека, которого пытался сбить с пути истинного безнравственный и распутный писатель и который в последнюю минуту был спасен добрым и любящим родителем. Звучит трогательно и вполне убедительно.

И все же, как ты и сам знаешь, тебе не удалось так уж легко отделаться. Я говорю даже не о том наивном вопросе, который был задан наивным присяжным и вызвал у прокурора и у судьи лишь снисходительно-презрительную улыбку.<sup>201</sup> Да и в зале этот маленький эпизод остался практически незамеченным.

Нет, то, о чем я говорю, касается главным образом самого тебя. Мне кажется, в глубине души ты не можешь не чувствовать, что вся эта история обернулась для тебя не совсем так, как тебе того бы хотелось, и я уверен, что придет время, когда ты, задумавшись над своим прошлым, поймешь почему.

Втайне – я в этом абсолютно уверен – ты уже и сейчас стыдишься своего поведения. Неземно представлять перед миром в маске невозмутимости и дерзкой, бесстыдной самоуверенности – это, конечно, достойно всяческого восхищения, но, хотя бы время от времени, когда ты остаешься наедине с собой и тебя не видит ни одна живая душа, ты, надеюсь, все же срываешь с себя маску, чтобы дать себе свободно дышать. А то ведь и задохнуться можно.

Думаю, твоя мать тоже по временам сожалеет о том, что старалась переложить груз своей ответственности на плечи другого человека, который и без того нес нелегкое бремя. Она была для тебя и матерью и отцом, но исполнила ли она свой родительский долг?

Если терпеть твой дурной нрав, твою грубость и твои постоянные сцены было нелегко даже мне, то как могла выносить все это она? Когда я в последний раз виделся со своей женой – с тех пор прошло четырнадцать месяцев, – я сказал ей, что теперь она будет Сирилу не только матерью, но и отцом. Я рассказал ей о твоих отношениях с матерью, о том, как она боится быть откровенной с тобой, – рассказал все без утайки, как и на этих страницах, но, конечно, гораздо подробнее. В частности, я объяснил ей причину, по которой твоя мать писала мне бесконечные письма с пометкой «лично в руки» на каждом конверте. Приходили они на Тайт-стрит так часто, что жена стала подшучивать надо мной и спрашивать, смеясь, а не сочиняем ли мы с твоей ма-

---

<sup>201</sup> Уайльд вспоминает – причем явно с горькой иронией – эпизод одного из судебных заседаний, когда старшина присяжных заседателей спросил у судьи, почему к ответственности не привлекается также и Альфред Дуглас: ведь он, очевидно, виновен не в меньшей степени, чем Оскар Уайльд.

тушкой совместный роман в письмах или нечто в подобном роде.

Я умолял жену быть для Сирила лучшей матерью, чем была твоя мать для тебя. Я говорил ей, что она должна воспитать его так, чтобы даже в том случае, если ему придется пролить невинную кровь, он сразу пришел бы к ней и признался ей в этом, а она, сначала омыв ему руки, научила бы его, как очистить свою душу покаянием и искуплением.

Я также сказал ей, что, если она боится принять на себя всю ответственность за сына, пусть возьмет себе в помощь опекуна. К моей радости, она так и сделала. В качестве опекуна она выбрала Адриана Хоупа, своего двоюродного брата – человека благородного происхождения, широкой культуры и высокой порядочности; ты с ним однажды встречался у нас на Тайт-стрит.

Я уверен, что он позаботится о Сириле и Вивиане наилучшим образом, и за их будущее можно не бояться. Думаю, и твоей матери, раз уж она не решалась откровенно говорить с тобой, следовало бы выбрать среди своих родственников такого человека, к чьему мнению и советам ты бы хоть как-то прислушивался. И уж во всяком случае ей не стоило бояться говорить с тобой напрямик. Ей следовало пересилить себя и высказать тебе все, что она думает и о тебе, и о твоём поведении. Она этого не сделала, и теперь ты сам можешь видеть, к чему это привело. И я сомневаюсь, что ей сейчас так уж спокойно и хорошо на душе.

Знаю, что во всем случившемся она винит одного меня. Об этом мне говорят не те, кто знает тебя, а те, кто тебя не знает и знать не желает. Я часто слышу об этом. К примеру, мне известно о том, что она любит порассуждать о влиянии, которое может оказывать взрослый мужчина на юношу. В этом она видит причину всех неприятностей, которые происходят с молодыми людьми, и эта ее убежденность встречает всеобщее понимание и сочувствие.

Впрочем, меня это не удивляет, ибо чем меньше люди знают о каком-то предмете, тем с большей предвзятостью к нему относятся. Я не стану спрашивать у тебя, какое влияние я на тебя оказывал. Ты и сам знаешь, что никакого. Более того, ты даже гордился этим, и в данном случае имел для этого все основания. Да и было ли в тебе хоть что-то такое, на что бы я мог повлиять? Ум? Уж слишком неразвит он был. Воображение? Оно было мертво. Душа? Она еще не родилась.

Из всех людей, встречавшихся на моем пути, ты был единственным, на кого я не мог оказать никакого влияния – ни хорошего, ни дурного.

Когда я лежал больной, беспомощный, страдая от лихорадки, которую я подхватил, ухаживая за тобой, то не мог повлиять на тебя даже в той минимальной степени, чтобы ты дал мне стакан молока или позаботился о том, чтобы у меня были предметы первой необходимости, без которых не обойтись больному, или потрудился проехать пару сотен метров до ближайшей книжной лавки, чтобы купить мне книгу за мои же деньги.

Даже тогда, когда я сидел и сочинял комедии, которым было суждено превзойти по своему блеску Конгрива,<sup>202</sup> по своей глубине – Дюма-сына, а по совокупности всех своих качеств – любых других авторов, я не мог повлиять на тебя таким образом, чтобы ты не беспокоил меня, а ведь покой для художника – это все.

В какой бы комнате я ни пытался уединиться, делая из нее свой рабочий кабинет, ты все равно воспринимал ее как обычную гостиную, где можно курить, попивать рейнвейн с сельтерской и болтать всякую ерунду.

«Влияние, оказываемое взрослым мужчиной на юношу» – кто-то, быть может, и верит в такие вещи, но только не я. Когда я слышу об этом, я всегда думаю: Боже мой, что за чепуха! Ну а ты, слыша эту сакраментальную фразу, небось всегда прячешь улыбку. И имеешь на это все основания.

Твоя мать также утверждает – и надо сказать, совершенно справедливо, – что неустанно заклинала меня не давать тебе денег. Да, об этом она действительно упоминала во всех своих бесчисленных письмах, заканчивающихся неизменным постскриптумом: «P. S. Только прошу Вас, не говорите об этом письме Альфреду». Но неужели она думала, что мне доставляет такое уж

---

<sup>202</sup> Уильям Конгрив (1670–1729) – английский драматург, чьи комедии отличались яркими характерами, остроумным диалогом и искусной интригой.

удовольствие оплачивать все до единого твои расходы, начиная от бритвы по утрам и заканчивая кебом в полночь? Мне до чертиков надоело платить за тебя на каждом шагу, и я снова и снова выражал по этому поводу недовольство.

Я не раз говорил тебе – надеюсь, ты помнишь об этом? – насколько мне неприятно, что ты воспринимаешь меня как «полезного» человека. Художники не любят, когда их считают кому-то или в чем-то полезными, ибо художники, как и само Искусство, по самому своему существу бесполезны.

Ты страшно злился, когда я выкладывал тебе это. Тебе не нравилось выслушивать правду. Что ж, правду выслушивать трудно, но еще труднее ее говорить. Но сколько бы раз я ни твердил тебе одно и то же, ты и не думал изменять ни своего образа жизни, ни своих привычек. И каждый день я продолжал платить буквально за каждый твой шаг. Только патологически добрый или безнадежно глупый человек может быть способен на это. К сожалению, во мне соединились и тот и другой.

Когда я тебе прозрачно намекал, что было бы более естественно, если бы деньги на твои расходы давала тебе мать, я слышал от тебя совершенно очаровательный ответ. Ты мне объяснял, что содержание, которое выплачивает ей твой отец – где-то около 1500 фунтов в год, если я правильно помню, – явно недостаточно для дамы с ее положением в обществе, и поэтому ты не можешь просить ее о большей сумме, чем та, которую ты от нее получаешь.

Да, ты, конечно, был прав – ее доходы действительно не соответствовали ни ее положению в обществе, ни привычному стилю жизни, но из этого вовсе не следовало, что ты можешь вести роскошную жизнь за мой счет; напротив, ты должен был из этого сделать вывод, что тебе не мешало бы поубавить свои аппетиты.

Все дело в том, что ты из тех, кто живет скорее эмоциями, чем рассудком. А такие люди считают, что могут позволить себе роскошь не платить за те чувства и ощущения, которыми они живут. Заботиться о кошельке своей матери – это, конечно, прекрасно. Но делать это за счет моего кошелька – это, мягко говоря, не очень красиво.

Ты ведь искренне считаешь, что твои эмоции должны обходиться тебе бесплатно. Так вот, ты очень ошибаешься. Даже за самые высокие, самые благородные чувства нужно платить. И, как ни странно, именно это и придает им благородный характер. Интеллектуальная и эмоциональная жизнь большинства людей на удивление бедна и убога. У них нет своих мыслей; они их берут во временное пользование (подобно тому, как читатели берут на дом книги) в библиотеке идей – в *Zeitgeist*<sup>203</sup> нашего лишенного души века – и в конце каждой недели возвращают их замызганными и замусоленными. Точно так же они берут в кредит и свои чувства, не желая платить, когда им присылают счет.

Тебе пора изменить свое отношение к жизни. Когда ты начнешь платить за испытываемые тобой эмоции, ты узнаешь им цену и только выиграешь от этого. И помни, что человек, живущий одними лишь ощущениями и эмоциями, в глубине души обязательно циник. Ведь эмоциональность и сентиментальность – это не что иное, как оборотная сторона цинизма.

Несмотря на всю свою привлекательность чисто с интеллектуальной точки зрения, цинизм, покинув бочку<sup>204</sup> и переселившись в комфортабельный особняк, никогда уже не поднимется выше уровня житейской философии, удобной для людей, лишенных души. И если с социологической точки зрения такая философия представляет определенный интерес (для художника интересны любые проявления человеческой личности), то в духовном отношении она мало чего стоит, ибо истинным циникам были чужды мирские интересы.

Мне кажется, что теперь, после всего мною сказанного, твоя роль в этой истории с деньгами твоей матери и моими деньгами представится тебе совершенно в ином свете, и ты поймешь, что тебе, собственно, нечем гордиться.

Возможно также, что придет такой день, когда ты дашь прочесть это письмо своей матери

<sup>203</sup> *Zeitgeist* – (букв.: дух времени) тенденции в современном мышлении и восприятии мира (нем.).

<sup>204</sup> Древнегреческий философ-киник (циник) Диоген Синопский жил, по преданию, в бочке (пифосе).

или по крайней мере объяснишь ей, что жил столько лет на мой счет не потому, что мне этого так хотелось, а, напротив, вопреки моей воле. Такую вот своеобразную, а для меня в высшей степени обременительную форму приняла твоя дружеская привязанность ко мне.

Полностью перекладывая на меня оплату всех своих расходов – как мелких, так и самых крупных, – ты чувствовал себя маленьким, очаровательным ребенком, который позволяет себя баловать. Ты полагал, что, заставляя меня платить за все твои удовольствия, ты тем самым нашел секрет вечной молодости.

Не скрою, что, когда мне передают те ужасные вещи, которые говорит обо мне твоя мать, на душе у меня становится обидно и больно. Я уверен, что, хорошенько поразмыслив над этим письмом, ты согласишься со мной, что если уж у нее не находится слов сожаления о том, что случилось со мной, или сочувствия тому горю, которое ваша семья принесла моей семье, то, по крайней мере – она должна была бы просто промолчать.

Разумеется, нет никакого смысла показывать ей ту часть моего письма, в которой говорится о моем духовном развитии или о том, каким новым темам я хотел бы посвятить свое творчество. Это ей будет неинтересно. Но те места в письме, где речь идет о тебе, я на твоём месте обязательно бы ей показал.

Будь я на твоём месте, я не стремился бы к тому, чтобы меня любили за достоинства, которых у меня нет. Не стоит обнажать нашу душу и нашу жизнь перед публикой. Публика нас ведь все равно не поймет. Иное дело те, чьей любовью мы дорожим. Мой большой друг – нашей с ним дружбе уже минуло десять лет<sup>205</sup> – недавно посетил меня здесь и сказал, что не верит ни единому слову, сказанному против меня, зато уверен в полной моей невиновности. По его мнению, я жертва чудовищного заговора, задуманного и состряпанного твоим отцом.

Слушая его, я даже расплакался, но лишь сказал ему в ответ, что, в то время как в недвусмысленных обвинениях твоего отца было много чего такого, что не соответствовало истине и что приписывалось мне его грязной и злобной фантазией, все же я действительно вел жизнь, полную несправедливых удовольствий и неумеренных страстей, и если он не готов принять этот факт и воспринимать меня таким, какой я есть, то я не только не смогу больше быть его другом, но и не стану появляться в его обществе.

Для него это явилось настоящим ударом, но мы все равно остались друзьями, и я рад, что заслуживаю его дружбу не за достоинства, которых у меня нет, а скорее несмотря на недостатки, которые у меня есть. Я уже говорил о том, как трудно говорить правду. Но еще труднее говорить ложь.

Помню, что, когда я сидел на скамье подсудимых во время последнего судебного заседания и слушал, как Локвуд<sup>206</sup> мечет в меня громы и молнии в своей заключительной обвинительной речи, мне все время казалось, будто он читает какой-то отрывок из Тацита или какое-то место из Данте или произносит одну из обличительных речей Савонаролы<sup>207</sup> против папства: то, что я слышал, повергало меня в панический ужас. И вдруг мне подумалось: «Вот было бы здорово, если бы все эти слова обо мне говорил не кто иной, как я сам!».

Ведь совершенно неважно, что говорят о человеке; гораздо важнее, кто говорит. Когда человек опускается на колени, бьет себя в грудь и исповедуется в содеянных им за всю жизнь грехах, вот тогда, я уверен, и наступает его высочайший момент. Это в полной мере относится и к тебе.

Ты был бы гораздо счастливее, если бы приоткрыл перед матерью хоть какие-то страницы своей жизни.

---

<sup>205</sup> Скорее всего речь идет о Роберте Россе (Робби).

<sup>206</sup> Сэр Фрэнк Локвуд (1847–1897) – заместитель министра юстиции Великобритании, возглавлявший обвинение на последнем судебном процессе Уайльда.

<sup>207</sup> Джироламо Савонарола (1452–1498) – настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Выступал против тирании Медичи, обличал папство, призывал церковь к аскетизму, осуждал гуманистическую культуру. В 1497 г. отлучен от церкви, а затем, по приговору синьории, казнен; его труп сожжен.



Во время нашей с ней встречи в декабре 1893 года она подробно расспрашивала о тебе, но я, само собой разумеется, был вынужден ограничиваться общими местами и о многом умалчивать. И хотя она и узнала кое-какие подробности о твоей жизни, смелости в отношениях с тобой это, кажется, ей не прибавило. Напротив, после этого она отворачивалась от реальности даже с большим упорством, чем раньше. Если бы ты рассказал ей о своих подвигах сам, все могло бы обернуться иначе. Быть может, мои слова кажутся тебе слишком резкими и обидными, но от фактов деваться некуда. Все обстояло именно так, как я говорю, и если ты прочтешь это письмо с должным вниманием, то, значит, увидишь себя таким, каким ты есть на самом деле.

А написал я это письмо, да еще такое длинное и подробное, с той единственной целью, чтобы ты смог понять, кем ты был для меня до моего заточения (все три года этой роковой для меня дружбы), кем ты был для меня во время моего заточения (его срок истекает почти через два месяца) и кем надеюсь быть я – и для себя и для других, – когда выйду на волю. Я не буду переделывать или начисто переписывать это письмо. Прими его таким, каким оно есть – исполненным страсти и боли, с пятнами от слез на страницах, с кляксами и поправками, – и постарайся хорошенько его осмыслить.

Что касается поправок и перечеркнутых мест, то они объясняются тем, что я хотел выразить свои мысли такими словами, которые абсолютно бы этим мыслям соответствовали и не грешили бы ни чрезмерной экспрессивностью, ни казенной бесцветностью.

Свой слог нужно настраивать, как скрипку. Подобно тому как излишек или недостаток вибраций в голосе певца или в дрожании струны делают ноту фальшивой, точно так же излишняя выразительность или бледность стиля мешает пониманию смысла изложенного.

Если говорить о моем письме, то мне кажется, что каждая фраза в нем имеет вполне определенный смысл – именно тот, что я в нее вкладывал. В нем нет ни красноречия, ни пустых разглагольствований. И если я вычеркиваю или заменяю слова либо вношу любые другие поправки (какими бы незначительными и чрезмерно дотошными они тебе ни казались), то делаю это лишь потому, что стараюсь передать именно то, что хотел передать, хочу найти точный эквивалент своим настроениям и ощущениям. Ведь чем мимолетнее настроение, тем труднее облечь его в словесную форму.

Я понимаю – во многих отношениях это жестокое письмо: я не щадил тебя. И ты по праву можешь сказать, что я ведь признавал в начале письма, что было бы несправедливо взвешивать твою вину на одних весах с обрушившейся на меня трагедией, кладя на мою чашу весов абсолютно все мои горести и утраты, включая самые мелкие, самые незначительные, – а потом я все-таки поступил именно так, разобрав твои поступки и твой характер по косточкам. Да, это правда. Только не забывай при этом, что ты сам, образно говоря, положил себя на чашу весов.

И все же должен тебе сказать, что если положить на одну чашу весов тебя, а на другую – одно-единственное мгновение моего заточения, то твоя чаша взлетит вверх, как перышко. Ты избрал свою чашу весов, подталкиваемый самовлюбленностью и тщеславием, и ты цепляешься за нее, руководимый ими же.

Нашей дружбе был свойственен серьезнейший психологический изъян – абсолютное отсутствие пропорции. Ты пробрался в жизнь человека, слишком просторную для тебя; в жизнь человека, вращающуюся по орбите, намного превышающей по широте интеллектуального кругозора орбиту твоей собственной жизни; в жизнь человека, чьим помыслам, чувствам и деяниям присущи высокие интересы и цели; в жизнь человека, исполненную (может быть, чересчур) чудесного (может быть, трагического?) предназначения. Ты же вел вполне заурядную жизнь с заурядными потребностями и интересами, и по меркам твоего узкого круга твою жизнь можно было считать идеальной. Таковой она была и в Оксфорде, где самое худшее, что может грозить студенту, – это нагоняй от декана или назидание от ректора колледжа, а самая великая для него радость – это победа команды его колледжа в университетских соревнованиях по гребле и костер во дворе колледжа в честь этого выдающегося события.

После ухода из университета тебе следовало бы и дальше жить привычной для тебя жизнью в привычном для тебя окружении. Сам по себе ты был ничем не хуже других.

Ты являл собой типичный образчик современного молодого человека. Вот только со мной

ты поступал не очень-то образцово.

Твою безрассудную расточительность нельзя считать преступлением. Юность всегда расточительна. Но все дело в том, что ты был расточительным за счет моего кармана, – а это уже постыдно. Твое желание приобрести себе друга, с которым ты проводил бы весь день, с раннего утра до позднего вечера, вызывало сочувствие и было почти трогательным. Но ты не должен был останавливать свой выбор на писателе, на творческой личности – то есть на человеке, для которого твое постоянное присутствие оказалось губительным, ибо парализовало его творческие способности и мешало ему создавать прекрасные произведения искусства.

Ты совершенно искренне считал, что идеально проведенный вечер означает обед с шампанским в «Савое», затем, после обеда, мюзик-холл с местами в отдельной ложе, а под конец, в качестве *bonne bouche*,<sup>208</sup> – ужин с шампанским в ресторане «Уиллис». Ничего плохого в этом, в общем-то, нет. Тысячи светских молодых людей в Лондоне проводят так свои вечера. Это нельзя считать чем-то таким уж экстравагантным. Более того, это одно из обязательных качеств, без которых невозможно стать членом клуба «Уайтс».

Но ты не должен был требовать от меня, чтобы я обеспечивал тебя подобными развлечениями. В этом проявилось твое полное неуважение ко мне как к художнику.

А твоя ссора с отцом, даже если забыть о ее неприглядном характере, должна была касаться только вас двоих, и никого больше. Такие ссоры обычно происходят за надежно запертыми дверьми и плотно закрытыми окнами. Твоя ошибка состояла в том, что тебе непременно нужно было сделать из нее трагикомедию и разыграть ее на высоких подмостках театра, называемого Историей, и перед зрителями, являющими собой весь мир. Я же разыгрывался в качестве своего рода награды, которая должна была достаться победителю в этом недостойном состязании.

Но тот факт, что твой отец не выносил тебя, а ты терпеть не мог своего отца, был безразличен широкой английской публике. Подобные чувства вполне обычны в семейной жизни англичан и не должны выплескиваться за пределы домашнего очага. Им не место вне семейного круга, и делать их общим достоянием публики – преступление. Семейная жизнь – это не красный флаг, которым размахивают на улицах, и не труба, в которую громко трубят на ярмарке.

Ты вынес свои семейные отношения за пределы домашнего очага подобно тому, как и сам покинул пределы среды, к которой принадлежал. А ведь те, кто покидает привычную им среду, меняют лишь окружение, а не свои природные склонности. Они не в состоянии проникнуться мыслями или чувствами той среды, в которую вступают, даже если бы и хотели.

Эмоциональные возможности человека, как сказано где-то в моих «Замыслах»,<sup>209</sup> так же ограничены по продолжительности и интенсивности, как и его физические возможности.

Маленький винный бокал вмещает ровно столько вина, сколько может вместить, ни каплей больше, даром что все бочки в винных погребах Бургундии наполнены до краев вином, а давилышки винограда, собранного на каменистых плато Испании, по колени утопают в виноградном соку.

Думать, будто те, кто стал причиной трагедии в жизни других людей, разделяют с ними их скорбь, или ждать от них этого – это самое большое и в то же время самое распространенное заблуждение. Быть может, мученику, обьятому «плащом из языков пламени», и дано узреть лик Божий, но для того, кто подбрасывает хворост в костер или пошевеливает поленья, чтобы ярче разгорелось пламя, страдания мученика так же безразличны, как для мясника смерть быка, которого он убил, для лесоруба – уничтожение дерева, которое он срубил, а для косаря – гибель цветка, который он скошил вместе с травой. Великие чувства могут испытывать только те, кто велик душой, а великие события могут увидеть только те, кто дорос до их уровня.

Во всей драматургии не найти ничего более совершенного с эстетической точки зрения и более психологически точного, чем созданные гением Шекспира образы Розенкранца и Гильден-

<sup>208</sup> Bonne bouche – на закуску (фр.).

<sup>209</sup> В сборник Уайльда «Замыслы» (1891 г.) входят четыре эссе. Приводимая Уайльдом мысль (в несколько видоизмененной форме) высказана им в одном из этих эссе – «Критик как художник».

стерна. Они университетские товарищи Гамлета. Они всегда были его друзьями. Они дорожат воспоминаниями о счастливых днях, проведенных вместе. По ходу действия пьесы они встречаются с Гамлетом в ту минуту, когда тот ошеломлен внезапно обрушившейся на него ношей, непосильной для человека с его тонкой душевной организацией.

Восставший из мертвых король, его отец, взвалил на него миссию, столь же сложную, сколь и тягостную для юноши. Гамлет по природе своей – мечтатель, а его призывают к действию. Он по складу души – поэт, а от него требуют распутать коварные хитросплетения причин и следствий, для чего ему придется столкнуться с реальным миром, о котором он ничего не знает, ибо живет в нереальном мире, о котором знает так много. Он не представляет себе, что делать, и в безрассудстве своем ведет себя так, будто лишился рассудка. Притворявшийся помешанным Брут<sup>210</sup> скрывал под плащом безумия острый меч своего вероломного замысла, кинжал своей несокрушимой воли, но для Гамлета безумие – всего лишь маска, скрывающая слабость его духа.

В паясничанье и фиглярстве он видит возможность уйти от необходимости решительных действий.

Уклоняясь от них, он играет с ними, подобно тому как художник играет с новомодными эстетическими теориями. Он оценивает правильность своих собственных действий, как бы шпионя за самим собой; он прислушивается к своим собственным словам, понимая, что это всего лишь «слова, слова, слова». Вместо того чтобы попытаться стать героем своей собственной истории, он удовлетворяется ролью зрителя своей собственной трагедии. Он никому и ничему не верит, в том числе самому себе, но его неверие не помогает ему, ибо порождено оно не скептицизмом, а нерешительностью.

Розенкранц и Гильденстерн даже не догадываются обо всем этом. Они только и делают, что раскланиваются со всеми, всем расточают улыбки, любезничают со всеми, и то, что произносит один из них, тут же повторяет другой, только с еще более слащавыми интонациями. И когда Гамлет, разыграв с помощью бродячих актеров спектакль внутри спектакля, ловит наконец в «мышеловку»<sup>211</sup> совесть короля (своего дяди и отчима), и несчастный в ужасе отрекается от трона, Гильденстерн и Розенкранц усматривают в поведении Гамлета всего лишь досадное нарушение придворного этикета. Это предел «проницательности», которую они способны проявить, присутствуя на «спектакле жизни» и реагируя на происходящее подобающими эмоциями.

Тайна Гамлета – под самым их носом, но они даже не догадываются о ней. Да и открывать ее этой парочке было бы бесполезно – они все равно ничего бы не поняли. Их можно уподобить маленьким винным бокалам, вмещающим ровно столько вина, сколько они могут вместить, – ни капель больше.

Ближе к развязке пьесы нам дают понять, что, попавшись в силки, расставленные для другого, они умерли – или, по крайней мере, должны были умереть – внезапной и насильственной смертью.

Но трагический финал такого рода, несмотря на то, что гамлетовское чувство юмора и придало ему оттенок неожиданного и справедливого возмездия, присущий комедиям, на самом деле не является концом для Гильденстерна и Розенкранца. Такие, как они, не умирают.

Горацио, сдавшись на уговоры Гамлета:

«...Нет, если ты мне друг, то ты на время поступишь блаженством. Подыши еще трудами мира и поведай про жизнь мою»,<sup>212</sup> – все же умирает, хотя и не на глазах у публики, и после него никого не остается, даже брата. Но Гильденстерн с Розенкранцем так же бессмертны, как Ан-

<sup>210</sup> Луций Юний Брут – первый римский консул. После того как Тарквиний Гордый, последний царь Древнего Рима, убил его брата, Брут, чтобы избежать той же участи, стал симулировать безумие, а в 510–509 гг. до н. э., свергнув Тарквиния Гордого, установил республиканский строй в Риме.

<sup>211</sup> «Мышеловка» – название пьесы, которую бродячие актеры в «Гамлете» разыгрывают перед королем.

<sup>212</sup> Перевод Б. Пастернака.

джело<sup>213</sup> с Тартюфом, причем все они стоят друг друга. Они олицетворяют собой то, что современная жизнь привнесла в античный идеал дружбы. Тот, кто напишет новый трактат «De Amicitia»,<sup>214</sup> должен уделить им видное место в своем творении и воздать им хвалу, прибегнув к лучшим образцам тускуланской прозы.<sup>215</sup>

Все четверо относятся к типу, встречающемуся во все времена. Поричать их – значит недооценивать этот факт. Они попросту оказались за пределами своей среды, вот и все. Величием души нельзя заразиться, как заражаются инфекционной болезнью. Возвышенные мысли и высокие чувства в силу своей уникальности не могут быть переданы другим. То, чего не могла понять даже Офелия, уж тем более не в состоянии были уяснить ни «Гильденстерн и милый Розенкранц», ни «Розенкранц и милый Гильденстерн».<sup>216</sup>

Разумеется, я не собираюсь сравнивать с ними тебя. Между вами огромная разница. То, что они делали почти бессознательно, ты делал совершенно сознательно. С присущей тебе напористостью и без всякого приглашения с моей стороны ты проник в мою жизнь, узурпировав в ней для себя место, на которое не имел права и которого не заслуживал, и с поразительной настойчивостью, изо дня в день, продолжал навязывать мне свое общество, пока не заполнил своим присутствием всю мою жизнь, с тем чтобы в конце концов разбить ее вдребезги.

Ты, наверно, удивишься моим словам, если я скажу, что ты просто не мог поступить иначе. Когда ребенку дают в руки игрушку, столь чудесную, что его неразвитый ум не в силах постичь ее чуда, или столь прекрасную, что его полупроснувшийся взгляд не может оценить ее красоты, то ребенок, если он избалован и своеволен, ломает ее, а если флегматичен, равнодушно роняет на пол и идет играть с другими детьми. Точно так же произошло и с тобой.

Завладев моей жизнью, ты не знал, что с ней делать. Да и откуда тебе было знать? Ты не в состоянии был постичь, какая драгоценность тебе досталась. Уж лучше бы ты выпустил ее из рук и вернулся к играм со своими приятелями. Но, к несчастью, ты был избалованным, своевольным ребенком – поэтому ты сломал ее. Это, в конечном счете, и было главной причиной того, что случилось. Ибо ничтожные причины часто приводят к серьезным, а то и к роковым последствиям.

Сдвиньте с места крошечный атом – и вы получите катастрофу глобальных масштабов. Чтобы быть объективным и щадить себя не более, чем тебя, добавлю вот еще что: какими бы опасными последствиями ни грозило мне наше знакомство с тобой, его фатальность более всего предопределил тот момент, в который оно произошло. Ибо ты был в том возрасте, когда еще сеют, я же вступил в ту пору жизни, когда уже жнут.

Хочу тебе сказать еще кое-что. Начнем с моего банкротства. Несколько дней тому назад я узнал – не скрою, с большим огорчением, – что твоя семья умудрилась пропустить тот срок, в течение которого можно было откупиться от твоего отца, и сейчас это носило бы уже противозаконный характер. А это означает, что мне придется оставаться в том же бедственном положении еще очень долгое время. Для меня это просто ужасно, ибо, как мне разъяснили, теперь, согласно закону, я не вправе даже выпустить книгу без разрешения официального ликвидатора,<sup>217</sup> которому я обязан представлять на рассмотрение все счета.

<sup>213</sup> Анджело – наместник герцога в «мрачной» комедии Шекспира «Мера за меру»; оставшись на время мнимого отъезда герцога в Польшу управителем Вены, Анджело проявляет себя жестоким и порочным самодуром.

<sup>214</sup> «De Amicitia» – «О дружбе», трактат римского политического деятеля, оратора и писателя Марка Туллия Цицерона (106–43 до н. э.) (лат.).

<sup>215</sup> Тускуланская проза – Уайльд имеет в виду цicerоновский слог: близ древнеримского города Тускулума находилась вилла Цицерона, где он написал ряд своих произведений, в том числе и трактат «О дружбе».

<sup>216</sup> Уайльд иронизирует над тем, что и король Клавдий, и королева Гертруда, и другие персонажи пьесы обращаются, как правило, сразу к обоим друзьям, то и дело меняя их имена местами.

<sup>217</sup> Официальный ликвидатор – лицо, назначаемое для временного управления имуществом несостоятельного должника.



Я не могу заключить с театром контракт или поставить в нем пьесу, не отослав всех расписок и квитанций твоему отцу и другим моим немногочисленным кредиторам.

Думаю, даже ты согласишься, что твой план «расквитаться» с отцом, дав ему возможность сделать меня несостоятельным должником, не принес того блестящего успеха, на который ты так рассчитывал. Ну а то, чем все это закончилось для меня, уж совсем невозможно назвать успехом, и тебе стоило бы больше думать о том, какую боль и унижение я испытываю, оказавшись практически нищим, чем тешить свое чувство юмора, каким бы едким и изобретательным оно тебе ни казалось.

Должен тебе сказать, что если называть вещи своими именами, то ты, убедив меня подать на твоего отца в суд и тем самым доведя меня до банкротства, сыграл только на руку своему отцу, ибо сделал все в точности так, как ему было нужно. Один, без поддержки, он ничего бы не смог добиться, и именно в тебе он нашел своего главного союзника, хотя я почти уверен, что ты и не думал выступать в столь неприглядной роли.

Мор Эйди пишет мне, что прошлым летом ты несколько раз говорил ему о своем намерении возместить мне «хотя бы небольшую часть из того, что я истратил» на тебя. Я написал ему в ответ, что, к сожалению, я истратил на тебя слишком много – и свое искусство, и свою жизнь, и свое доброе имя, и свое место в истории, так что если бы твое семейство владело всеми благами мира, такими, как гениальность, красота, богатство, высокое положение в обществе и тому подобное, и все это сложило бы к моим ногам, то даже в этом случае оно ни в малейшей мере не отплатило бы мне за самую ничтожную мелочь из того, что у меня отобрали, за самую крохотную слезинку из тех, что я пролил. Хотя, конечно, человек должен расплачиваться за все, что содеял. Даже если он несостоятельный должник и расплачиваться ему нечем.

Ты, видимо, полагаешь, что банкротство – удобный способ избежать уплаты долгов, то есть, образно выражаясь, прекрасный метод «пощипать» кредиторов. Так вот, все как раз наоборот. Это скорее кредиторы получают удобную возможность «пощипать» (если снова прибегнуть к твоему любимому словечку) несостоятельного должника, так как Закон, конфискуя все его имущество, заставляет его тем самым выплатить все долги до последнего, а если после этого все же выявятся неоплаченные долги, то бедного должника оставят вообще без гроша, как самого убогого нищего, что попрошайничает в подворотнях или бредет по дороге, молча протягивая руку за милостыней, ибо у нас, в Англии, вслух ее бояться просить.

Закон отобрал у меня все, что я имел, – книги, обстановку, картины, авторские права на мои опубликованные произведения, авторские права на мои пьесы, – словом, все, начиная от «Счастливого Принца» и «Веера леди Уиндермир» и кончая лестничными коврами и скобой для чистки подошв перед дверью моего дома. Но и этого законникам показалось мало, и они заодно взяли все, что я мог бы иметь после выхода из тюрьмы.

Например, была продана моя доля, причитавшаяся мне по брачному контракту. К счастью, мне удалось ее выкупить через друзей, а иначе, в случае смерти моей жены, наши двое детей оставались бы в течение моей жизни такими же нищими, как и я. Думаю также, что я потеряю ту долю в нашем ирландском имении, которую завещал мне отец. Горько сознавать, что имение будет продано, но мне ничего не остается другого, как смириться с этим.

Те семьсот пенсов твоего отца – а может быть, фунтов? – которые подлежат возврату по принадлежности, должны быть выплачены ему в самое ближайшее время. Даже если меня лишат всего, что у меня каким-то чудом осталось, а также того, что мне когда-либо предстоит иметь в будущем, и объявят меня окончательно неплатежеспособным, мне все равно придется расплачиваться с долгами. За обеды в «Савое» – прозрачный черепаховый суп, восхитительно вкусные блюда из овсянок,<sup>218</sup> завернутых в складчатые листья сицилийского винограда, шампанское темно-янтарного цвета и с почти янтарным запахом (впрочем, всем винам ты предпочитал Дагонэ урожая 1880 года, не правда ли?).

За ужины в ресторане «Уиллис» – великолепная сервировка, тончайшее вино марки Перье-

<sup>218</sup> Овсянка (полное название – садовая овсянка) – небольшая птица, в прежние времена употреблявшаяся в пищу и даже считавшаяся деликатесом.

Жуэ, которое держали специально для нас, дивные рвтйс,<sup>219</sup> присланные прямо из Страсбурга, лучшее шампанское, подававшееся в огромных фужерах в форме колокола (чудесная искристая жидкость наливалась на доньшко, чтобы истинные гурманы и эпикурейцы, ценители всего изысканного в жизни, могли лучше насладиться его букетом), – за все это я должен буду расплатиться, иначе мой долг спишут в убыток как долг бесчестного клиента, а этого нельзя допустить.

И даже за прелестные запонки – четыре серебристо-туманных лунных камня в форме сердец в оправе из чередующихся рубинов и бриллиантов (эти запонки, рисунок которых придумал я сам, были изготовлены в мастерской Генри Льюиса, и я подарил их тебе, чтобы отметить успех моей второй комедии;<sup>220</sup> впрочем, я совершенно бы не удивился, если бы мне стало известно, что вскоре после этого ты их сбыл за бесценок) – я тоже обязан расплатиться. Не могу же я допустить, чтобы ювелир понес убытки из-за моих подарков тебе, каким бы образом ты с ними ни распорядился потом. Как видишь, даже если с меня и спишут долги, я, как человек чести, все равно буду обязан их уплатить.

Все, что относится к банкротам, в равной степени относится и вообще к людям. Ибо за все, что делается, кто-то должен платить. При всем твоим желанием быть абсолютно свободным от каких бы то ни было обязательств и все получать за чужой счет; при всей твоей убежденности, что никто не вправе рассчитывать на твою привязанность, уважение или благодарность, – тебе все равно когда-нибудь придется задуматься над тобою содеянным и попытаться, пусть даже и безуспешно, искупить свою вину.

И то, что ты не в силах будешь этого сделать, станет частью твоего наказания. Ты не можешь просто так умыть руки, уйти от всякой ответственности и, мило улыбнувшись и пожав плечами, перейти к новому другу или присоединиться к новому застолью.

Ты не можешь относиться к тому, что навлек на меня столько бед, как к одному из сентиментальных воспоминаний, которыми ты будешь иногда развлекать друзей за сигаретами и liqueurs. Ты не можешь взирать на нашу прошлую дружбу, как на красочный фон праздной жизни или как на старинный гобелен, висящий в дешевом трактире. Это может доставить тебе минутное удовольствие, подобно свежему соусу или новому сорту вина, но то, что остается после пиршества, быстро теряет свежесть, а осадок на дне бутылки горчит. Если не сегодня и не завтра, то когда-нибудь тебе все же придется это понять. Иначе до конца своих дней ты так и не осознаешь, насколько жалкой, никчемной, лишенной воображения и вдохновения была твоя жизнь.

В своем письме к Мору я предложил оригинальный подход к тем вопросам, которые я только что затронул. Думаю, тебе стоило бы взять его на вооружение – и чем скорее, тем лучше. Мор расскажет тебе, в чем его суть, но, чтобы уразуметь, как его применять, тебе придется призвать на помощь все свое воображение.

Ты должен помнить, что воображение – это такое качество, которое позволяет нам видеть вещи и людей как в реальном, так и в идеализированном свете. Если ты не сумеешь разобраться в этом самостоятельно, поговори на эту тему с другими. Мне пришлось взглянуть своему прошлому прямо в лицо. Попытайся сделать это и ты. Присядь и спокойно поразмысли над этим. Самый большой порок в человеке – поверхностность. Во всем, что происходит в нашей жизни, есть свой глубокий смысл. Поговори со своим братом об этом.

Да, Перси – именно тот человек, который тебя поймет. Дай ему прочесть это письмо и расскажи обо всех обстоятельствах нашей дружбы. И коль скоро ты сумеешь рассказать ему все без утайки и так, как оно было на самом деле, то лучшего третейского судьи нам не сыскать. Если бы мы вовремя сказали ему всю правду, от скольких страданий и унижений я был бы избавлен! А помнишь, я предлагал это сделать в тот вечер, когда ты возвратился в Лондон из Алжира? Ты наотрез отказался.

И вот, когда твой брат появился после обеда, мы принялись разыгрывать комедию, стара-

<sup>219</sup> Рвтйс – паштеты (фр.).

<sup>220</sup> Имеется в виду «Женщина, не стоящая внимания» (1893).

ясь убедить его, что твой отец – безумец, одержимый бредовыми и беспочвенными иллюзиями. Комедию мы с тобой разыграли просто классическую, хотя Перси воспринял ее скорее как трагедию и безоговорочно всему поверил. Беда только в том, что финал этой комедии и в самом деле оказался трагическим. И то, о чем я сейчас пишу, – одно из последствий нашего с тобой актерства.

Если тебе было неприятно читать это письмо, то уж поверь мне – писать его было во сто крат неприятнее. Более того, это явилось для меня самым чудовищным унижением, которое мне пришлось испытать в своей жизни. Но я должен был пройти через это. У меня не было выбора. У тебя – тоже.

Второй предмет, который я хотел бы сейчас затронуть, – это наша встреча с тобой после того, как закончится срок моего тюремного заключения. Давай обсудим, на каких условиях, где и при каких обстоятельствах она состоится.

Из твоего письма Робби Россу, полученного им в начале прошлого лета, можно судить, что мои письма к тебе и подарки – по крайней мере, то, что осталось от них, – ты запечатал в два пакета и собираешься передать их мне из рук в руки. То, что нужно их возвратить, не вызывает сомнения. Ты никогда не мог себе уяснить, зачем я пишу тебе столь прекрасные письма или почему я преподношу тебе столь великолепные подарки. Тебе было невдомек, что письма я пишу не для того, чтобы их публиковать, а подарки дарю не для того, чтобы отдавать их в заклад. Кроме того, они относятся к тем страницам моей жизни, которые давно перевернуты, и к той дружбе, которую ты так и не смог оценить по достоинству.

Ты, должно быть, с удивлением оглядываешься на те дни, когда моя жизнь была полностью в твоих руках. Я тоже оглядываюсь на них с удивлением, но при этом у меня возникают и чувства совершенно иного рода.

Меня должны выпустить к концу мая, и я хотел бы сразу же после этого уехать в какую-нибудь маленькую приморскую деревушку за границей. За компанию со мной поедут Робби и Мор Эйди.

Как говорит Еврипид в своей трагедии об Ифигении:<sup>221</sup> «...море смывает с людей все беды и омывает все раны» (иЪлбууб клэжей рбнфО фь Рнисщрщн кЪкб).

Я собираюсь провести на море со своими друзьями не менее месяца и надеюсь, что в их обществе и под их благотворным влиянием обрету мир и душевное равновесие. Уверен, что их присутствие облегчит груз, лежащий у меня на сердце, и умиротворит мою душу. Меня с поразительной силой влекут к себе великие первобытные стихии, такие, например, как Океан, который для меня точно так же отец, как Земля – мать.

На мой взгляд, современный человек скорее созерцает Природу со стороны, чем живет в ней. Теперь я понимаю, насколько мудро древние греки относились ко всему сущему. Они никогда не восторгались закатами и не спорили о том, какого цвета тени на зеленой траве – фиолетового или лилового. Но они знали, что море предназначено для пловца, а прибрежный песок – для бегуна. Они любили деревья за их тенистую сень, а лес – за полуденную тишину. Сборщик винограда вплетал в свои волосы листья плюща, чтобы защитить склоненную к лозам голову от лучей жгучего солнца, а венки, которыми увенчивали художника и атлета (эти два классических образа стали символами Древней Греции), плели из горьких лавровых листьев и дикого сельдерея, не имевших иного применения.

Мы называем наш век утилитарным и в то же время не знаем назначения окружающих нас вещей и предметов. Мы забыли, что Вода призвана омывать, Огонь – очищать, а Земля – быть нам матерью. Поэтому наше Искусство считает своим главным объектом Луну, а своим назначением – игру с тенями, тогда как объектом древнегреческого Искусства было Солнце, и занимались древнегреческие художники реально существующими предметами.

Я уверен, что именно в стихийных силах нужно искать очищение; мне хочется вернуться к ним и жить среди них. Конечно, такому современному человеку, как я – типичному *enfant de*

<sup>221</sup> Речь идет о трагедии «Ифигения в Тавриде»; Еврипид (ок. 480–406 до н. э.) – древнегреческий поэт и драматург.

mon siècle,<sup>222</sup> – всегда будет светло на душе от одного лишь сознания, что я могу любоваться нашим миром. У меня сердце замирает от радости при одной только мысли о том, что в день моего выхода на свободу в садах будут буйствовать сирень и ракитник.

Неужели я и в самом деле увижу, как ласковый ветер нежно перебирает струящиеся золотым дождем пряди ракитника и мягко колышет величественные бледно-лиловые султаны сирени, наполняя воздух таким сладким благоуханием, что мне, наверно, будет казаться, будто я из темницы попал прямо в волшебную арабскую сказку?!

Когда Линней<sup>223</sup> впервые увидел одну из пустошей в холмах Англии, всю желтую от крохотных ароматных цветков обыкновенного дрока, он упал на колени и заплакал от счастья. Я знаю, что и мне, человеку, чья любовь к цветам носит чуть ли не чувственный характер, еще предстоит пролить свои слезы на лепестки роз. Со мной всегда было так, с самого раннего детства.

Нет ни единого цветового оттенка, скрытого в чашечке цветка или в изгибе раковины, который, по какому-то тончайшему созвучию с самой сутью вещей, не находил бы отклика в моей душе. Подобно Готье,<sup>224</sup> я всегда был одним из тех, pour qui le monde visible existe.<sup>225</sup>

Но теперь я знаю, что за всей этой Красотой, какую бы она ни доставляла нам радость, прячется некий Дух, который может проявлять себя лишь через цвета и различные формы, и я хотел бы достигнуть гармонии с этим Духом. Я устал от конкретности окружающего меня мира. Мистическое в Искусстве, мистическое в Жизни, мистическое в Природе – вот чего я ищу.

И мне кажется, я найду то, чего я ищу, в созвучиях великих Симфоний, в таинстве неизбывной Скорби, в темных глубинах Моря. Пусть это окажется где угодно, но мне совершенно необходимо это найти.

Судят человека за его жизнь, а осуждают на смерть (во всяком случае, на духовную смерть), а меня ведь судили трижды. После первого суда меня арестовали, после второго – отправили в дом предварительного заключения, после третьего – заточили на два года в тюрьму.

В том Обществе, где мы живем, для меня не находится места и никогда не найдется, но в Природе, чьи ласковые дожди омывают и праведных и неправедных,<sup>226</sup> всегда найдется для меня приют в горных пещерах и скалах, где я смогу укрыться, или в потаенных, тихих долинах, где я смогу вдоволь выплакаться. Природа заботливо усыплет яркими звездами небосвод, чтобы я мог бродить ночью порой, не боясь оступиться; завет ветром мои следы, чтобы никто не нашел меня и не причинил мне зла; омоет меня чистыми водами; исцелит горькими травами.

В конце месяца, когда будут цвести во всем своем пышном великолепии июньские розы, я, если мне ничего не помешает, договорюсь через Робби о встрече с тобой в каком-нибудь тихом заграничном городке вроде Брюгге,<sup>227</sup> который много лет назад очаровал меня своими старинными домами, зелеными каналами и атмосферой безмятежного спокойствия.

Если ты действительно хочешь меня увидеть, то тебе придется на какое-то время изменить свое имя и отказаться от добавления к нему своего титула, с которым ты всегда так носился, – хотя я должен признать, что твое имя вкупе с титулом и вправду напоминает название какого-то

<sup>222</sup> *Enfant de mon siècle* – дитя своего века (фр.).

<sup>223</sup> Карл Линней (1707–1778) – шведский естествоиспытатель, создавший систему классификации растительного и животного мира. Впервые посетил Англию в 1736 г.

<sup>224</sup> Теофиль Готье (1811–1872) – французский писатель и критик, один из вдохновителей группы французских поэтов «Парнас». Обосновал теорию «искусства для искусства».

<sup>225</sup> *Pour qui le monde visible existe* – для кого существует зримый мир (фр.).

<sup>226</sup> См. Евангелие от Матфея, V, 45.

<sup>227</sup> Брюгге – город в Бельгии, на Северном море, сохранивший средневековый облик; административный центр провинции Западная Фландрия; славится множеством прекрасных готических зданий, среди которых – собор XIV столетия.



диковинного цветка.

Мне, в свою очередь, тоже придется расстаться со своим именем, некогда столь музыкально звучавшим в устах моей Славы. Как все-таки ограничен и необъективен наш век! Насколько беспомощен и безответствен!

Успеху он воздвигает дворцы из порфира, а для Страдания и Бесчестия у него не находится даже крытой соломой хижины, где они могли бы найти приют.

Мне же он не может предложить ничего лучше, чем сменить мое имя на другое,<sup>228</sup> в то время как даже мрачное средневековье не пожалело бы для меня монашеского капюшона или куска ткани, которым прикрывают лицо прокаженные, и тогда никто бы не узнал меня и я мог бы пребывать в мире.

Надеюсь, наша встреча будет такой, какой и надлежит ей быть после всего, что случилось. Между нами всегда была глубокая пропасть – пропасть между высоким Искусством и мещанской культурой, – но теперь она стала еще глубже, и разделяет нас Скорбь и Страдание. Но для Смирения и Любви нет ничего невозможного.

Что касается письма, которое, хотелось бы думать, ты пришлешь мне в ответ, то оно может быть длинным или коротким – это тебе решать. Надпиши на конверте: «Начальнику тюрьмы Ее Величества, Рединг». Письмо вложи внутрь – в другом, открытом, конверте, – и, если бумага у тебя слишком тонкая, не исписывай лист с обеих сторон, ибо будет трудно читать другим.

Я писал тебе это письмо абсолютно откровенно и искренне. Надеюсь, ответ будет таким же. Прежде всего я хотел бы узнать, почему ты так ни разу и не написал мне сюда, хотя уже с августа позапрошлого года и уж наверняка с мая прошлого года – с тех пор прошло одиннадцать месяцев, – ты прекрасно знал (и не скрывал от других, что знаешь), как заставляешь меня страдать и что я думаю по этому поводу.

Месяц за месяцем я ждал от тебя письма. Но даже если бы и не ждал, а, образно выражаясь, захлопнул бы двери перед тобой, ты все равно должен был понимать, что невозможно захлопнуть двери перед Любовью.

Судья несправедливый в Священном Писании<sup>229</sup> в конце концов встает с места и провозглашает справедливый приговор, ибо Справедливость неустанно приходила к его дому и настойчиво стучалась к нему в дверь. Друг, в чьем сердце нет истинной дружбы, все же встает с постели в ответ на стук в дверь и дает хлеб пришедшему к нему позднее ночью другу «по неотступности его».<sup>230</sup> В целом мире нет такой недоступной тюрьмы, куда бы не достучалась Любовь. Если ты до сих пор не понял этого, – значит, ты не понял, что такое Любовь.

Кроме того, мне хотелось бы поподробнее узнать о твоей статье для «*Mercure de France*». Кое-что я уже знаю, но было бы неплохо, если бы ты привел в своем письме несколько характерных цитат. Статья ведь уже была набрана, не так ли? Перепиши мне также и текст Посвящения к сборнику своих стихов – только прошу тебя, слово в слово. Если посвящение в прозе, – значит, приводи его в прозе; если в стихах – значит, в стихах. Не сомневаюсь, что найду в нем много прекрасных слов. Повторяю, пиши о себе с полной откровенностью: и о своей жизни, и о своих друзьях, и о своих делах, и о своих книгах. Расскажи мне о своем поэтическом сборнике и о том, как его приняла публика. Все, что можешь сказать в свое оправдание, говори без стеснения. Не пиши того, чего на самом деле не думаешь, – это главное.

Если в твоём письме будут фальшивые ноты, я тут же распознаю их на слух. Ведь недаром же я всю свою жизнь посвятил служению литературе, сделавшись

Рабом созвучий и слогов – таким же,

<sup>228</sup> По выходе из тюрьмы Уайльд взял имя Себастьян Мельмот – именно так звали любимого литературного героя Уайльда, изображенного английским писателем Чарлзом Мэтьюрином (1780–1824) – кстати, двоюродным дедом Уайльда – в романе «Мельмот-скиталец».

<sup>229</sup> Евангелие от Луки, XVIII, 6.

<sup>230</sup> Евангелие от Луки, XI, 5–8.

Как царь Мидас<sup>231</sup> был золота рабом.<sup>232</sup>

Думаю, что мне предстоит узнать тебя заново. Быть может, это предстоит нам обоим.

Хочу тебе сказать еще одно, последнее, слово. Не страшись прошлого. Если тебя станут уверять, что прошлое безвозвратно, не верь им. Прошрое, настоящее и будущее – это лишь мгновения в представлении Господа, а ведь нам нужно стараться жить согласно Его представлениям.

Время и пространство, последовательность событий и протяженность материи – все это лишь условные границы существования Мысли. Воображению в силах переступить через эти границы и войти в свободную сферу духовных субстанций. Материальные субстанции тоже ведь таковы, какими они нам представляются. Материальная вещь – это лишь то, что мы хотим в ней увидеть. «Там, где другие видят всего лишь зарю, занимающуюся над холмами, – говорит Блейк, – я вижу сынов Божиих, ликующих в радости».

То будущее, которое, как мне казалось, ожидает меня впереди, я утратил, поддавшись твоим уговорам привлечь к суду твоего отца, хотя, по правде говоря, я утратил его еще задолго до этого. Все, что теперь лежит передо мной, – это мое прошлое. Я должен научиться смотреть на свое прошлое другими глазами, и мне хотелось бы сделать так, чтобы весь мир и даже сам Бог стали смотреть на мое прошлое другими глазами. Я не смогу сделать этого, если буду пренебрежительно говорить о своем прошлом, похваляться им или отрекаться от него. Добиться своей мечты я смогу лишь в том случае, если начну относиться к своему прошлому как к неизбежной части эволюции моей жизни и моего характера и если смиренно склоню голову перед всем, что выстрадал.

Это письмо, с его неустойчивыми и переменчивыми настроениями, с его язвительностью и горечью, с его высокими порывами и сознанием их тщетности, является свидетельством того, насколько мне еще далеко до настоящего душевного покоя. Но не нужно забывать при этом, в какой ужасной школе мне приходится усваивать свои уроки. И все же, несмотря на все мои недостатки и несовершенства, ты мог бы еще многому у меня научиться. Ты пришел ко мне, чтобы постичь радости Жизни и радости Искусства. Но, может быть, я избран был для другой миссии – научить тебя, в чем смысл Страдания и в чем его красота.

*Твой преданный друг*

*Оскар Уайльд*

---

<sup>231</sup> Фригийский царь Мидас был наделен Дионисом способностью превращать в золото все, к чему бы ни прикасался, и в результате чуть не умер от голода. Сжалившись над ним, Дионис избавил его от этого дара.

<sup>232</sup> Строки (перевод В. Чухно) из стихотворения Джона Китса «Сонет о сонете».